

Часть первая

ЖИЗНЬ Л. ТОЛСТОГО И ДОСТОЕВСКОГО



ПЕРВАЯ ГЛАВА

У обоих, в особенности у Л. Толстого, произведения так связаны с жизнью, с личностью писателя, что нельзя говорить об одном без другого: прежде, чем изучать Достоевского и Л. Толстого как художников, мыслителей, проповедников, надо знать что это за люди.

В русском обществе, отчасти и в критике, утвердилось мнение, будто бы в конце семидесятых, в начале восьмидесятых годов с Л. Толстым произошел глубокий нравственный и религиозный переворот, который в корне изменил не только всю его личную жизнь, но и умственную, и писательскую деятельность, как бы переломил его существование на две половины: в первой он – только великий писатель, может быть, и великий человек, но все-таки человек от мира сего, с человеческими и даже русскими страстями, скорбями, сомнениями, слабостями; во второй – он выходит из всех условий исторического быта и культуры; одни говорят, что это христианский подвижник, другие – безбожник, третьи – фанатик, четвертые – мудрец, достигший высшего, нравственного просветления, как Сократ, Будда, Конфуций, – основатель новой религии.

Сам Л. Толстой в “Исповеди”, написанной в 1879 году, подтверждает и как бы даже подчеркивает единственность, бесповоротность и окончательность этого религиозного перерождения:

“Пять лет тому назад со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать. – Эти остановки жизни всегда выражались одинаковыми вопросами: Зачем? Но, а потом? – Я будто жил-жил, шел-шел, и пришел к пропасти; я ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме гибели. – Я всеми силами стремился прочь от жизни. – И вот я, счастливый человек, прятал от себя шнурок, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами в своей комнате, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни”.

От этого отчаяния, от самоубийства спасло его, как он полагает, сближение с простыми верующими людьми, с рабочим народом:

“Я жил так, т(о) е(сть) в общении с народом, года два, и со мной случился переворот. Со мною случилось то, что жизнь нашего круга – богатых ученых – не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, наука, искусство – все это предстало мне в новом значении. Я понял, что все это одно баловство, что искать смысла в этом нельзя”.

“Я возненавидел себя, и я признал истину. Теперь мне все ясно стало”¹.

Самый бесхитростный, а потому и самый драгоценный, достойный наибольшего доверия из жизнеописателей Л. Толстого, брат его жены, С.А. Берс², в своих “Воспоминаниях” тоже говорит об этом “перевороте” 80-х годов, который будто бы “изменил всю умственную деятельность и внешнюю жизнь Льва Николаевича”.

“Перемена всей его личности, происшедшая за последнее десятилетие, в настоящем смысле *полная и коренная*. Изменилась не только его жизнь и отношение ко всем людям и ко всему живому, но изменилась и вся мыслительная его деятельность. *Весь Лев Николаевич сделался олицетворенною идеею любви к ближнему*”².

Столь же определенно свидетельство жены его, графини Софьи Андреевны Толстой:

“Если бы ты знал и слышал теперь Левочку! – писала она брату в начале 1881 года. – Он много изменился. Он стал христианин и самый искренний и твердый”³.

Трудно было бы усомниться в столь сильных и достоверных свидетельствах, если бы у нас не было источника еще более достоверного – собственных художественных произведений Л. Толстого, которые в сущности, от первого до последнего, не что иное, как один огромный пятидесятилетний дневник, одна бесконечно подробная “исповедь”. В литературе всех веков и народов едва ли найдется другой писатель, который обнажал бы самую частную, личную, иногда щекотливую сторону жизни своей с такою великодушною или беззастенчивою откровенностью, как Толстой. Он, кажется, сказал нам о себе все, что только имел сказать, и мы о нем знаем все, что он сам знает о себе.

К этой-то художественной и, следовательно, непреднамеренной, непроизвольной исповеди нельзя не обратиться, решая вопрос о действительном значении религиозного переворота, происшедшего в нем в пятидесятые, то есть уже в предстарческие годы его жизни.

В первом произведении своем, в “Детстве, Отрочестве и Юности”⁴, книге, написанной двадцатилетним юношей, рассказывает он свои еще свежие воспоминания из четырнадцати или пятнадцатилетнего возраста.

“В продолжение года, во время которого я вел уединенную, сосредоточенную в самом себе, моральную жизнь, все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представились мне; и детский слабый ум мой со всем жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигать ум человека”⁵.

Однажды весенним утром, помогая слуге выставлять рамы на окнах, почувствовал он внезапную радость и умиление христианского самопожертвования:

“Мне хотелось измучиться, оказывая эту услугу Николаю”. – “Как дурен я был прежде, как я мог бы и могу быть хорош и счастлив в будущем! – говорил я сам себе, – надо скорей, скорей, сию же минуту сделаться другим человеком и начать жить иначе”⁶.

Исправить все человечество, уничтожить все пороки и несчастья людские – стало ему казаться “удобоисполнимою вещью”. И он решил “написать себе на всю жизнь расписание своих обязанностей и занятий, изложить на бумаге цель

своей жизни и правила, по которым всегда уже, не отступая, действовать”. Он тотчас пошел к себе наверх, достал лист писчей бумаги, разлиневал ее и, разделив обязанности к самому себе, к ближним и к Богу, начал записывать.

С грустною, почти жуткою и все-таки слишком поверхностною насмешкою, как будто не подозревая всей глубины и болезненности того, что с ним происходило, рассказывает он свои тогдашние, по слову апостола Иакова, *дво-ящиеся мысли*⁷. Получается странное впечатление: как будто в нем два сердца, два человека. Один, вследствие христианских мыслей о смерти, чтобы приучить себя к страданию, “несмотря на страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексиконы Татищева или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине так больно”, что слезы невольно выступали на глазах; другой, вследствие тех же мыслей о смерти, вспомнив вдруг, что смерть ожидает его каждый час, каждую минуту, решал бросить уроки и дня три “занимался только тем, что, лежа на постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским медом, которые покупал на последние гроши”⁸. Один Лев Толстой сознательный, добрый и слабый, смиряется, кается, питает отвращение к себе, к своей порочности; другой – бессознательный, злой и сильный, “воображает себя великим человеком, открывающим для блага всего человечества новые истины, и с гордым сознанием всего достоинства смотрит на остальных смертных”, находя особое, утонченное, как бы сладострастное наслаждение гордости даже в отвращении к себе, самоуничтожении, самобичевании.

Рассказывая об этих отроческих мыслях своих, приходит он к заключению, что в основе их было четыре чувства: первое – “любовь к воображаемой женщине”, то есть сладострастие плоти; второе – “любовь любви” людской, то есть гордость, сладострастие духа; третье – “надежда на необыкновенное тщеславное счастье, такая сильная и твердая, что она переходила в сумасшествие”; четвертое – отвращение к самому себе и раскаяние.

Но, в сущности, это не четыре, а только два чувства, ибо первые три соединяются в одно – в любовь к себе, к своему *телу*, к своей *телесной* жизни или к своему *Я*; второе – отвращение, ненависть к себе, нелюбовь к другим или к Богу, а именно *только* ненависть к себе. И здесь, и там первая основа и соединение двух столь, по-видимому, противоположных чувств есть *Я*, или до крайней степени утверждаемое, или до крайней степени отрицаемое. Все начинается и все кончается в *Я*: ни любовь, ни ненависть не могут разорвать этого круга.

И вот вопрос: какой же из двух переменяющихся, сливающихся Львов Николаевичей Толстых – наиболее истинный, искренний, вечный: тот ли, кто стегает себя по голой спине аскетическою веревкой, или тот, кто есть эпикурейские пряники с кроновским медом, баюкая себя мыслью о смерти, о том, что все под солнцем суета сует и томление духа, что лучше псу живому, нежели мертвому Льву? Тот ли, кто любит, или тот, кто ненавидит себя? Кто все свои мысли, чувства, желания начинает по-христиански, или – кто кончает их по-язычески? Или, может быть, наконец, – и это было бы для него самое страшное, – оба они одинаково искренние, одинаково истинные, одинаково вечные?

Во всяком случае, он судит себя и свои отроческие мысли, которые называет своими “умствованиями”, с такою строгостью и честностью в этом первом

произведении, с какими впоследствии уже никогда не судил себя даже на знаменитых, столь жгуче-покаянных и самобичующих страницах “Исповеди”.

“Из всего этого тяжелого морального труда я не вынес ничего, кроме изворотливости ума, ослабившей во мне силу воли, и привычки к постоянному моральному анализу, уничтожившей свежесть чувства и ясность рассудка. – Склонность моя к отвлеченным размышлениям до такой степени неестественно развилась во мне сознание, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей, я не думал уже о вопросе, занимавшем меня, а думал о том, о чем я думал. Спрашивая себя: о чем я думаю? – я отвечал: Я думаю, о чем я думаю. А теперь о чем я думаю? Я думаю, что я думаю, о чем я думаю, и так далее. Ум за разум заходил”.

По поводу первой неудачи с “Правилами жизни”, когда, желая разлиновать бумагу и употребив вместо не нашедшейся линейки латинский лексикон, он размазал чернила в продолговатую лужу, с грустью замечает он:

“Зачем все так прекрасно, ясно у меня в душе и так безобразно выходит на бумаге и вообще в жизни, когда я хочу применять к ней что-нибудь из того, что думаю?”

Но, может быть, это лишь беспомощность детского ума и детской совести, которая пройдет с годами, когда явится полное сознание и возмужалось духа? – Едва ли так. По крайней мере, он уже и тогда, как писал “Детство и отрочество”, двадцатичетырехлетним юношей, сознавал, что эта детскость его не зависит от возраста и что неизгладимый след ее останется в нем на всю жизнь:

“Я убежден в том, что, если мне суждено прожить до глубокой старости и рассказ мой догонит мой возраст, я стариком семидесяти лет буду точно так же невозможно ребячески мечтать, как и теперь”⁹.

В этих простых и спокойных словах не больше ли христианского смирения, – если уж вообще говорить о христианском смирении Л. Толстого, – чем во всех его последующих, столь громких и страстных, покаянных исповедях? Не легче ли сказать о себе, пред лицом всего мира, как он впоследствии говорил: “я паразит, я вошь, я блудник, вор и убийца”¹⁰, чем в тишине совести признать действительную меру сил своих: я до сих пор такой же ребенок в моих старческих мыслях, как и в моих отроческих умствованиях; несмотря на всю беспредельную силу заключенного во мне художественного гения, я – в моих исканиях Бога – не вождь, не пророк, не основатель новой религии, а такой же слабый, заблудившийся, болезненно-раздвоенный человек, как все люди моего времени.

“Утро помещика” в хронологическом порядке произведений Л. Толстого, который вполне соответствует действительному порядку жизни его, есть как бы следующая глава, продолжение огромного дневника его¹¹. Князь Дмитрий Нехлюдов – не кто иной, как Николай Иртенев, герой “Детства, отрочества и юности”, вышедший из университета, где, не окончив курса, он понял тщету всех человеческих знаний, и поселившийся в деревне помещиком, чтобы помогать простому народу. В Нехлюдове совершается такой же нравственно-религиозный переворот, как в Иртеневе:

“...Глупость все то, что я знал, чему верил и что любил, – говорит он сам себе. – Любовь, самопожертвование – вот одно истинное, независимое от случая счастье”.

Действительность, однако, не удовлетворяет его. “Где эти мечты? – думает он. – Вот уже больше года, что я ищу счастья на этой дороге, и что ж я нашел? Правда, иногда я чувствую, что могу быть довольным собою, но это какое-то сухое, разумное довольство”.

Нехлюдов убеждается, что, несмотря на все свое желание, он не умеет делать добро людям. И мужики выказывают недоверие к христианским чувствам барина. Единственный вывод из этого неудачного и в сущности ребяческого опыта соединить помещичьи добродетели с евангельскими – болезненно-бесплодная зависть к молодому крестьянину Илюшке, – даже не к духовной, а только к телесной силе его, здоровья, свежести, безмятежному сну его мысли и совести.

Из жизнеописания Толстого¹² мы знаем, что после неудачного нехлюдовского опыта с яснополянскими мужиками, разочаровавшись в своих помещичьих способностях, он покинул деревню и уехал на Кавказ, где поступил юнкером в артиллерию, увлекаемый романтическими мечтами о военной славе и о прелестях первобытной жизни горцев, подобно герою “Казакон” Оленину.

Так же, как Иртенъев и Нехлюдов, Оленин сознает себя безгранично-свободным. Это особенная русская свобода молодого богатого барина сороковых годов, для которого нет никаких “ни физических, ни моральных оков; он все мог сделать, и ничего ему не нужно было и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не верил и ничего не признавал. Он любил до сих пор только себя одного и не мог не любить, потому что ждал от себя одного хорошего и не успел еще разочароваться в самом себе”.

Но хотя он ни во что не верит и ничего не признает, хотя он любит только себя простодушного, детски-циническою любовью, этот недоучившийся студент, юнкер артиллерии уже противопоставляет свои “философские открытия”, свое опрошение среди станичных казаков – культурной жизни всего человечества.

“Ему ясно казалась та ложь, в которой он жил прежде и которая уже и там возмущала его, а теперь стала ему невыносимо гадка и смешна”.

“Как вы мне гадки и жалки! – пишет он своим московским приятелям, – вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь! Надо раз испытать жизнь во всей ее безыскусственной красоте. Надо видеть и понимать, что я каждый день вижу перед собой: вечные, неприступные снега гор и величавую женщину в той первобытной красоте, в которой должна была выйти первая женщина из рук своего Творца, и тогда ясно станет, кто себя губит, кто живет в правде или во лжи, вы или я. Коли бы вы знали, как мне мерзки, жалки – вы в вашем оболъщении!”

“Люди живут, как живет природа: умирают, рождаются, совокупляются, опять рождаются, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, кроме тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них нет... Счастье – это быть с природой”¹³.

Эту первобытную мудрость воплощает действительный герой повести, старый казак дядя Ерошка, одно из величайших и совершеннейших созданий Л. Толстого, которое дает возможность заглянуть в самую темную, тайную, его собственному сознанию, может быть, никогда не открывавшуюся глубину существа его. Здесь в первый и, кажется, в последний раз с художественно-законченной, почти сознательною ясностью выступает одно из двух лиц, вечно спорящих

в нем: лицо, всегда действующее, но мало говорящее о себе и еще менее себя сознающее. Столь знакомое, и все-таки незнакомое, до сих пор не разгаданное, не освещенное лицо самого Л. Толстого как будто сквозит и мелькает в лице этого исполина с детскими глазами, со старческими, могучими, трудовыми морщинами, с юношескими мышцами, с крепким смешанным запахом чихиря, водки, пороха и запекшейся крови – в лице дяди Ерошки.

Жизнь его так же, как жизнь полудиких чеченцев, наполнена “любовью к свободе, праздности, грабежу и войне”. Он сам говорит о себе с простодушной гордостью: “я – молодец, пьяница, вор, охотник... Я человек веселый, я всех люблю, я – Ерошка!”

Это – бессознательный русский философ-циник. Он чувствует себя столь же безгранично-свободным, как и русский барин Оленин. Так же ничего не признает и ни во что не верит. Живет вне человеческих законов, вне зла и добра. Татарские муллы и русские старoverы-уставщики возбуждают в нем одинаково спокойную и презрительную насмешку:

“По-моему, все одно. Все Бог сделал на радость человеку. *Ни в чем греха нет.* Хоть с зверя пример возьми. Он и в татарском камыше, и в нашем живет. Что Бог дал, то и лопают. А наши говорят, что за это будем сковороды лизать. Я так думаю, что все одна фальшь. Сдохнешь – трава вырастет, вот и все”.

У него древняя, дочеловеческая мудрость, бездонно-ясная и в то же время темная душа лесного полубога-полужверя – фавна или сатира. Он умеет быть по-своему добрым и нежным. Любит все живое, всякую Божью тварь. И эта любовь как будто напоминает христианство, может быть, потому, что в последней, бессознательной глубине язычества есть начало будущего поворота к христианству, оргийное начало Диониса – самоотречения, самоуничтожения, слияния человека с богом Паном, Отцом всего сущего. Не следует, однако, забывать не только исторической, но и психологической пропасти, отделяющей это первое, дикое и, если можно так выразиться, *языческое христианство* от второго, культурного христианского сознания. Если они и соприкасаются, то лишь так, как самые противоположные крайности иногда соприкасаются.

Дядя Ерошка отгоняет ночных бабочек, которые вьются над колышущимся огнем свечи и попадают в него.

“Дура, дура! Куда летишь? Дура! Дура!”

“Он приподнялся и своими толстыми пальцами стал отгонять бабочек”.

Не напоминает ли в эту минуту кроткая улыбка дяди Ерошки улыбку св. Франциска Ассизского?¹⁴

И от него же пахнет запекшейся кровью, может быть, не только звериной, но и человеческой, потому что на совести старого “вора” не одно убийство. Как природа, он и милосерд, и жесток в одно и то же время. Он сам не чувствует и не понимает этого противоречия. То, что впоследствии разделится на зло и добро, в нем еще слито в первобытном единстве, в бессознательной гармонии.

И Оленин в своем собственном сердце, столь тщетно желающем обратиться в христианство, находит родственный отклик этой цинической мудрости дяди Ерошки. В тишине бездыханного полдня, в чаще южного леса, среди грозного избытка жизни, он вдруг познает нехристианское отречение от себя, полужверское, полубожеское слияние с природой – священную дикую мудрость фавнов и

сатиров, кажущуюся людям безумием, полную восторгом и ужасом, который древние называли ужасом бога Пана, *бога Всего*.

“И вдруг на Оленина нашло такое странное чувство беспричинного счастья в любви ко *всему*, что он, по старой детской привычке, стал креститься и благодарить *кого-то*”. Прислушиваясь к жужжанию комаров, Оленин думает: “Каждый из них такой же особенный Дмитрий Оленин, как и я сам”. – “И ему ясно стало, что он несколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар, или такой же фазан, или олень, как и те, которые живут теперь вокруг него: “Так же, как они, как дядя Ерошка, поживу, умру. И правду он говорит: только трава вырастет”.

Но и в нем два человека; и этот второй Оленин, подобно Иртеньеву и Нехлюдову, твердит все одно и то же: “Любовь, самоотвержение! Не стоит жить для себя, надо жить для других”. И он пытается примирить нечеловеческую мудрость леших и сатиров с умеренными, полезными и разумными “христианскими” добродетелями. Он жертвует своею любовью к Марьяне казаку Лукашке. Но ничего из этого не выходит, так же как из иртеньевских “правил жизни”, из нехлюдовского помещичьего христианства.

“Я не виноват, что полюбил, – вырывается у него в минуту отчаяния поразительное признание, – я спасался от своей любви в самоотвержении, я выдумал себе радость в любви казака Лукашки с Марьянкой и только раздражал свою любовь и ревность... Я не имею своей воли, а чрез меня любит ее какая-то стихийная сила, весь мир Божий, вся природа вдавливают любовь эту в мою душу и говорят: люби. – Я писал прежде о своих новых (то есть христианских) убеждениях. Никто не может знать, каким трудом вырабатывались они во мне, с какою радостью сознал я их и увидел новый открытый путь к жизни. Дороже этих убеждений ничего во мне не было. Ну ... пришла любовь, и их нет теперь, нет и сожаления о них! Даже понять, что я мог дорожить *таким односторонним, холодным, умственным настроением*, для меня трудно. Пришла красота и в прах рассеяла всю египетскую жизненную внутреннюю работу. И сожаления нет об исчезнувшем! Самоотвержение – все это вздор, дичь. Это все гордость, убежище от заслуженного несчастья, спасения от зависти к чужому счастью. Жить для других, делать добро! Зачем? Когда в душе моей *одна любовь к себе*”.

Одна любовь к себе – этим все начинается и все кончается. Любовь или ненависть к себе, только к себе – вот две главные, единственные, то скрытые, то явные оси, на которых все вертится, все движется в первых, может быть, самых искренних произведениях Л. Толстого.

Да и в первых ли только?

ВТОРАЯ ГЛАВА

Юнкер Оленин мечтает о флигель-адъютантстве. Мы знаем, что юнкер артиллерии, гр. Л.Н. Толстой, также мечтал о флигель-адъютантстве и георгиевском кресте. “Во время службы на Кавказе, – рассказывает Берс, – Лев Николаевич страстно желал получить георгиевский крест”. При открытии Крымской кампании он был сначала под Силистрией¹, потом перешел в Севастополь, где

пробыл под огнем трое суток на четвертом бастионе и участвовал в штурме, выказывая большую храбрость.

Это свое тогдашнее военное честолюбие выразил он впоследствии, с обычной откровенностью, в тайных мыслях одного из своих любимых героев, князя Андрея Болконского в “Войне и мире”, который мечтает сделаться русским Наполеоном.

“Если я хочу этого, хочу славы, – говорит себе князь Андрей перед Аустерлицким сражением, – хочу быть известным людям, хочу быть любимым ими, то ведь я не виноват, что хочу этого, что одного этого я хочу, для одного этого я живу. Я никогда никому не скажу этого, но, Боже мой! что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно. И как ни дороги, ни милы мне многие люди: отец, сестра, жена – самые дорогие мне люди, но, как ни страшно и неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей”.

Лев Николаевич был уже представлен к столь страстно им желаемому георгиевскому кресту, но не получил его, как уверяет Берс, “вследствие личного не расположения одного из начальников”. Эта неудача сильно опечалила его, но вместе с тем “изменила его взгляд на храбрость”, со своим неизменным простодушием уверяет Берс. Ему же признался однажды Лев Николаевич “в своей гордости и тщеславии: когда после неудач в молодости, то есть военных, он приобрел громкую славу писателя, то высказал мне, что эта слава – величайшая радость и большое счастье для него. По его собственным словам, в нем было приятное сознание того, что он – писатель и аристократ”. Иногда с усмешкой говорил он, что “не заслужил генерала от артиллерии, зато сделался генералом от литературы”.

Едва ли некоторая грубость и беззастенчивость этого признания принадлежит Толстому; по всей вероятности, даже в шутке, с глазу на глаз, сумел он выразиться тоньше и стыдливее. Но, с другой стороны, надо видеть всю глубину наивного, так сказать, беспомощного благоговения Берса перед великим родственником, чтобы чувствовать, что на какую-нибудь злую и остроумную выдумку он совершенно неспособен. Он пишет свое *житие* Л. Толстого в простоте сердца, как создатели древних легенд, хотя, правда, простота Берса для его героя иногда хуже воровства, зато для исследователя, может быть, лучше всякого ума.

Как бы то ни было, разочаровавшись в войне и в военной храбрости, которой впоследствии он так бессмертно и беспомощно отомстил в своих произведениях, вышел он в отставку поручиком артиллерии и уехал сначала в Петербург, потом за границу. “Петербург, – замечает Берс, – ему никогда не нравился. Он не мог ничем выдвигаться в высшем кругу Петербурга: служебной карьеры, разумеется, не домогался, большим состоянием не владел, а громкой славы писателя тогда еще не составилось”.

Вернувшись из-за границы в год освобождения крестьян, Толстой занялся мировым посредничеством и сельскою школою в Ясной Поляне². Одно время думал он отдать всю жизнь этой деятельности и окончательно успокоиться на ней. Но мало-помалу разочаровался и в школе так же, как во всех своих прежних попытках делать людям добро. И дошел, наконец, до того, что увидел нечто “преступное”, как он сам выражается, в своем отношении к детям:

“Мне казалось, что я развратил чистую, первобытную душу крестьянского ребенка. Я смутно чувствовал в себе раскаяние в каком-то святотатстве. Мне вспоминались дети, которых праздные и развратные старики заставляют ломаться и представлять сладострастные картины для разжигания своего усталого, истасканного воображения”³.

Показание, как всегда у него, хотя искреннее, но безудержное и болезненно-чрезмерное. Из его тогдашних школьных дневников одно лишь ясно, что он действительно заботился не столько о детях, сколько о себе самом. Заставляя Федьку и Сеньку писать сочинения, которые потом в своем педагогическом журнале объявлял более совершенными, чем произведения Л. Толстого, Пушкина, Гете, он делал на душах детей, может быть, слишком для себя ответственные и для них небезопасные опыты со своею собственною душою. Он любовался, вечный Нарцисс⁴, своим отражением в детских душах, как в зеркале глубокого и девственного родника. Он любил и в детях, этот, может быть, в самом деле роковой для них и страшный учитель, только себя, себя одного.

«Дело, казалось, шло хорошо, – признается он в “Исповеди”, – но я чувствовал, что я не совсем умственно здоров, и долго это не может продолжиться».

В нем уже опять готовился нравственный переворот. “Я заболел, – говорит он, – более духовно, чем физически, бросил все и поехал в степь к башкирам, пить кумыс и жить животною жизнью”⁵.

Вернувшись, он женился на Софье Андреевне Берс.

Все прежние попытки устроиться в жизни – нехлюдовская помещицья благодетельность, опрощение в казачьей станице, война, школа – были только любительством, дилетантизмом, в самом широком, старинном смысле этого слова – *охотою*, ибо во всю свою жизнь он, подобно дяде Ерошке, прежде всего – великий, бесконечно-разнообразный *охотник*.

Но жениться это уже не охота, не игра, а первое в жизни его важное, все обновляющее и все преобразующее, святое и страшное для него дело, которому он не только хочет отдаться, но действительно отдается.

Ему тридцать четыре года, ей восемнадцать. Тотчас после свадьбы уехали они в Ясную Поляну и провели в ней почти безвыездно около двадцати лет, в совершенном уединении, никогда не скучая, ни в ком не нуждаясь. Это лучшие годы Л. Толстого, в которые он создал “Войну и мир” и “Анну Каренину”, – высший подъем и расцвет его сил. «Любовь ее к мужу безгранична, – пишет брат Софьи Андреевны, – близость, дружба и взаимная любовь этой четы всегда служили для меня образцом и идеалом супружеского счастья. Не даром говорили ее родители: “Соне лучшего счастья пожелать нельзя!”»

Мы видим в “Воспоминаниях” Фета⁶ эту Наташу или Китти, один из самых безупречных и законченных женских образов помещицьею русской культуры – “всю в белом, с огромною связкою тяжелых ключей за поясом” – простую, тихую, всегда веселую и большею частью беременную, потому что у нее тринадцать человек детей. «Она семь раз переписала “Войну и мир”, и одновременно с этим трудом, – говорит Берс, – и с заботами хозяйки дома, доходившими до подробностей в кухне, она сама успевала кормить, учить и обшивать детей до десятилетнего возраста». Когда родилась у них вторая дочь, и мать заболела, так что была при смерти и после нескольких попыток все-таки не могла кормить, – уви-

дав, что дочь ее кормит другая женщина, она плакала от ревности к ней, тотчас удалила кормилицу, и ребенок был вскормлен на рожке. “Лев Николаевич находил эту ревность естественною и восхищался чадолюбием жены”.

Чадолюбие, чадородие – здесь не кажутся слишком торжественными эти ветхозаветные слова, напоминающие древних библейских патриархов Авраама, Исаака и Иакова, которые получили завет от Бога Израиля: плодитесь, множитесь и наполняйте землю⁷. Что бы ни думали мы о семейном счастье Л. Толстого, нельзя не согласиться, что есть в этом нечто целое, твердое, стройное, если не совершенное, то, по крайней мере, завершенное, а следовательно, прекрасное, как сказал бы народ, – *благолепное*, то есть именно самое редкое в теперешней русской жизни – ни живой, ни мертвой, окончательно не разрушенной, а только изъеденной, обезображенной, как постыдною болезнью, разлагающим семью карамазовским ядом.

Мы, слабые, дерзкие, слишком жадно устремленные к будущему, привыкли мало ценить законченные формы прошлого, это “благолепие”, “благообразие”, эти цепкие, животное-растительные корни всякой человеческой культуры, глубоко уходящие в подземную, родную, живую, животную темноту и теплоту, которыми, однако, только и питается и, наперекор всяким “серым теориям”, вечно зеленеет “золотое дерево жизни”⁸. Нам кажутся цинично-грубыми и мещанскими эти, может быть, только слишком откровенные слова Николая Ростова в эпилоге “Войны и мира”:

“Все это поэзия и бабьи сказки – все это благо ближнего. Мне нужно, чтобы наши дети не пошли по-миру; мне надо устроить наше состояние, пока я жив; вот и все”.

Пьер Безухов смотрит свысока на Николая Ростова, воображая, будто бы призван, посредством своих “умствований”, “дать новое направление всему русскому обществу и всему миру”. И Левин, подобно маленькому Иртеньеву, считает спасение человечества “удобоисполнимою вещью”. Занимаясь устройством хозяйства, то есть тем же, в сущности, что Николай Ростов называет откровеннее “устройством своего состояния”, Левин рассуждает: “это дело не мое личное, а тут вопрос об общем благе. Все хозяйство, главное положение всего народа, совершенно должно измениться. Вместо бедности – общее богатство, вместо вражды – согласие... Одним словом, революция бескровная, но величайшая революция, сначала в маленьком кругу нашего уезда, потом губернии, России, всего мира”. А все-таки и Левин, и Пьер Безухов, хотя не говорят, но действуют и живут именно так, как говорит Николай Ростов. И в “Исповеди” Л. Толстой разоблачает, с особенною, толстовскою, ростовскою и левинскою откровенностью, эту последнюю циническую тайну своих излюбленных героев:

“Вся жизнь моя сосредоточилась за это время в семье, в жене, в детях и потому в заботах об увеличении средств к жизни. Стремление к усовершенствованию подменилось уже прямо стремлением к тому, чтобы мне с семьей было как можно лучше”⁹.

Он даже уверяет, будто бы и “писательству предавался” в это время, то есть во время создания “Войны и мира” и “Анны Карениной”, исключительно “как средству для улучшения своего материального положения”, поучая тому, что для него “было единой истиной, – что надо жить так, чтобы самому с семьей было как можно лучше”.

Возвращаясь домой с охоты или из кратких, невольных деловых поездок, рассказывает Берс, он каждый раз выражал свое волнение так: “только бы дома все было благополучно!”

Это не мещанство; это неизмеримо глубже и первобытнее: это вечный голос природы, неодолимое чутье жизни, которое заставляет зверя устраивать логово, птицу – гнездо и человека – зажигать огонь семейного очага.

“Я две недели женат, – пишет он Фету, – и счастлив, и новый, совсем новый человек... Теперь как писать? Теперь незримые, даже зримые усилия, и притом я в хозяйстве опять прямо по-уши. И Соня со мной. Управляющего у нас нет, – она одна ведет контору и кассу. У меня и пчелы, и овцы, и новый сад, и винокурня”¹⁰.

Он хлопочет о покупке яснополянского и пензенского имения и 6000 десятин самарского имения, где устраивает конный завод; покупает около сотни башкирских маток и, рассчитывая на обилие молока, скрещивает их с рысистой, верховой, английской и другими породами. Старая яснополянская ключница рассказывает о страстном его увлечении особою породю свиней, необыкновенно жирных, голых, без щетины, на коротких ногах: «в особенности он любовался на своих свиней, которых держал до трехсот штук, сидевших парами в отдельных небольших хлевушках. Здесь граф не терпел ни малейшей грязи: каждый день я и мои помощницы должны были перемывать их всех, вытирать пол и стены хлевушек; тогда, проходя по свинятне утром, граф бывал очень доволен и громко приговаривал: “какое хозяйство! какое хорошее хозяйство!” Зато избави Бог, если он заметит хоть малейшую грязь: сейчас рассердится, раскричится. Граф был очень горячий барин»¹¹.

Анна Сейрон, бывшая гувернанткою в доме Толстых, в заметках своих (“Шесть лет в доме гр. Л.Н. Толстого”, СПб. 1895¹²), кажется, желающих быть ехидными, на самом деле довольно легкомысленных и плоских, говорит с насмешкою, что за этими знаменитыми поросятами “ухаживали, как за детьми”. Шутка едва ли удачна. И что из того, ежели добрый хозяин находил время заботиться и о своих детях, окруженных, впрочем, как мы знаем, швейцарскими боннами, немками, англичанками, – и о своих поросятах? Тут нет высокого и низкого, благородного и презренного: тут, в хозяйстве, как в живом теле – все цельно и стройно, одно к одному, одно для другого – люди, животные, растения.

И пусть даже, подобно Левину, заботясь о своем темном и теплом логове, занимаясь своими поросятами, утешал он себя мыслью, будто бы заботится о благе человечества и что это есть “революция бескровная, но величайшая, сначала в маленьком круге уезда, потом губернии, России, всего мира”; на самом деле он ведь только следовал глубокому и верному чутью животной жизни: и свиные хлевушки, и детская, и конный завод, и пчельник, и винокурня, и конторские книги Софьи Андреевны – все эти “незримые и зримые усилия” суть покорное воле природы свивание гнезда, благолепное *домостроительство*.

И прежде всего, тут великая и простая любовь к жизни, та вечно детская радость жизни, которая была и у Гете. «Лев Николаевич, – рассказывает Берс, – ежедневно похвалит день за красоту его и часто прибавит – уже совсем в духе “великого язычника”: “Как у Бога много богатств! У Него каждый день отличается чем-нибудь от другого”».

“Чудесная жара, – пишет он Фету, – купанье, ягоды привели меня в любимое мною состояние умственной праздности. Я два месяца не пачкал рук чернилами и сердце мыслями. Давно я так не радовался на мир Божий, как нынешний год. Стою, разиня рот, люблюсь и боюсь двинуться, чтобы не пропустить чего”¹³. И это – самые для него тяжкие, страшные годы, когда он думал о самоубийстве, замышлял “Исповедь”.

Может быть, никогда не был он более естественным, похожим на себя, достойным кисти великого художника, таким, как создал его Бог, чем на башкирском празднике, о котором рассказывает Берс. Через Мухамед-Шаха Романовича¹⁴ было объявлено, что граф Толстой устраивает у себя в самарском имении скачку на 50 верст. Заготовлены были призы: бык, лошадь, ружье, часы, халат и т.п. Выбрали ровную местность, опахали и измерили огромный круг в пять верст длиною, и на нем расставили знаки. Для угощения были заготовлены бараны и даже одна лошадь. К назначенному дню съехалось несколько тысяч народу: уральские казаки и русские мужики, башкиры и киргизы со своими кочевками, кумысом, котлами и даже баранами. Дикая степь, покрытая ковылем, устала рядом кочевков и оживилась пестрою толпой. На коническом возвышении, называемом по местному шишка, были разостланы ковры и войлоки и на них кружком расселись башкиры, с поджатыми под себя ногами. В середине круга из большого турсука молодой башкир разливал кумыс и подавал чашку по очереди сидевшим. Это шла круговая. Пир длился два дня, был весел, но вместе с тем важен и благопристойен, потому что Лев Николаевич умел “даже в толпе, – замечает Берс, – поселить уважение к благопристойности”.

Какой незапамятно-древнею, пастушескою идиллией веет от этого праздника под степным небом, над волнами степного ковыля!

Еще и теперь в лице семидесятилетнего Толстого, в этом суровом и чувственном, почти грубом, мужичьем и все-таки нежно-одухотворенном лице, которое напрасно он сам и другие стараются сделать современным, смиренным, покаянным и бесплотным, узнаю я иную, не бесплотную святость, благолепную величавость одного из древних патриархов, которые водили стада свои между колдовцами пустыни и радовались потомству своему, более многочисленному, чем песок морской.

«Я предпринял большие дела, – говорит он в “Исповеди” словами Екклизиаста, – построил себе дома, насадил себе виноградники; устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовые деревья; сделал себе водоемы для орошения из них рощ, произрастающих деревья; приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И сделался я великим и богатым. И мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья»¹⁵.

Однажды граф Соллогуб сказал Льву Николаевичу:

“Какой вы счастливец, дорогой мой! Судьба дала вам все, о чем только можно мечтать: прекрасную семью, милую, любящую жену, всемирную славу, здоровье – все”¹⁶.

В самом деле, если не внутри, то извне, это – самая счастливая человеческая жизнь в наше время.

“Если бы пришла волшебница, – признается он сам, – и предложила мне исполнить мое желание, я бы не знал, что сказать”¹⁷.

И вот, достигнув этой вершины возможного людям благополучия, он заглядывает в противоположную “вечернюю долину”, как будто боги, наконец, позабывав слишком счастливому смертному, напомнили ему, не потрясающим голосом беды или утраты, а тихим шепотом парки, что и над ним есть рок.

Он “будто жил-жил, шел-шел, и пришел к пропасти, и ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме гибели”. Понял, как царь Соломон, что все – суэта и томление духа¹⁸ и что мудрый умирает наравне с глупым.

“Я испытывал ужас перед тем, что ожидает меня; знал, что этот ужас ужаснее самого положения, но не мог терпеливо ожидать конца... Ужас тьмы был слишком велик и я хотел поскорее избавиться от него петлей или пулей”¹⁹.

Прежде чем говорить об этом последнем повороте жизни, перевале, с которого начинается спуск в “вечернюю долину”, надо сказать о чувстве, которое всегда было в нем столь же сильно, как любовь к жизни, может быть, потому, что оно было только обратной стороной этой любви, – о страхе смерти.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

“Я жалею тех, кто придает большое значение смертности всего существующего и теряется в созерцании ничтожества всего земного: да мы ведь и живем именно для того, чтобы *преходящее делать непреходящим*, что может быть достигнуто лишь тогда, если мы сумеем оценить и то, и другое, то есть и смертное, и бессмертное”. Это слова Гете (*Maximen und Reflexionen*, II)¹.

В заключении Фауста говорит он о том же, почти теми же словами, еще короче и яснее:

Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichniss².

“Все проходящее есть только подобие” – есть только образ, только символ. Мы должны *соединять* – Гете говорит: оценивать и то, и другое, *beides schätzen* – должны соединять (*συνβαλλειν* – от которого произошло *Συμβολον* – символ – значит: сливать, спаивать, соединять), мы должны соединять смысл не вечного с вечным, мы должны, не унижая проходящего, смертного, созерцать в нем и сквозь него бессмертное, непреходящее; мы не можем иначе достигнуть неземного, как поняв и полюбив земное до конца, до его последних пределов, не презирая, не унижаясь ничтожеству земного; мы должны помнить, что нет у нас иных путей восхождения, иных ступеней к Богу, кроме “подобий”, “явлений”, “символов” – не бесплотных и не бескровных, а облеченных в самую живую плоть и кровь.

Ибо таинство нашего Бога не есть таинство только духа и слова, но также плоти и крови, ибо Слово наше стало Плотью. “Кто не ест Мою плоть и не пьет Мою кровь, тот не имеет жизни вечной”³. Итак, не без плоти, а через плоть к тому, что за плотью; тут величайший символ, величайшее соединение – о, сколь не многим еще доступно!

Это слово Гете о святости всего земного, переходящего, о нетлении тленного – лучший ответ на отчаяние и ужас, на те слова Сакья-Муни и Екклизиаста о тленности всего сущего, о нирване, о суете сует, которые Л. Толстой приводит в “Исповеди” как самое глубокое выражение своего собственного отчаяния⁴.

Не удивительно ли: древние эллины и новый эллин, Гете, уж, конечно, не менее любили землю, земные радости, чем царь Соломон и Лев Толстой. Но страх смерти не уничтожал для них смысла этих радостей – напротив: самая черная тьма и ужас бездны еще увеличивали прелесть жизни, подобно тому, как самый черный бархат увеличивает блеск алмазов. Они не отворачивались от этой тьмы, а как будто нарочно желали, искали ее, чтобы победить. Трагедия, дерзновеннейшее и глубочайшее созерцание всего, что только есть в человеческой судьбе наиболее темного и рокового, не случайно создана была в самую лучезарную пору эллинской жизни. Отчаяние Эдипа, не угадавшего загадки Сфинкса, беспредельнее отчаяния Сакья-Муни и царя Соломона. А между тем, именно здесь, в виду Парфенона⁵, в самом радостном из всех когда-либо людьми воздвигнутых зданий, в театре бога вина и сладострастья, бога Диониса, самые счастливые из смертных наслаждались этим последним ужасом и отчаянием. “Не существует ли, – спрашивает Ницше, – особая склонность души ко всему жестокому, загадочному, что только есть в бытии, происходящая из жажды наслаждений, из бьющего через край здоровья, из *полноты* жизни? Особая искушающая отвага самого острого взгляда, которая требует ужасного, как врага, как достойного врага, в борьбе с которым можно помериться силами?”⁶

Трагедия воли – “Прометей”⁷, трагедия мысли – “Фауст” именно и были такими вызовами, полными “искушающей отваги”, *versucherische Tapferkeit* – страху смерти, тайне жизни. Только самые сильные из сильных, самые трезвые из трезвых могут безнаказанно испытывать это упоение ужасом, о котором говорит и Пушкин, сильнейший и разумнейший из русских людей:

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья
.....
И так – хвала тебе, чума!
Нам не страшна могилы тьма;
Нас не смутит твое призванье!⁸

Когда является чрезмерный страх этой “могильной” тьмы – слишком ясное и отрезвляющее сознание плотской тленности, ничтожества всего земного, то это первый признак того, что именно божественные родники известной культуры уже истощены или отравлены, что сила жизни идет в ней на убыль.

По-видимому, отчаяние Софокла в “Эдипе”⁹ похоже на отчаяние Соломона в Екклизиасте; на самом деле это два противоположных полюса. Одно – подъем,

другое – спуск; одно – начало, другое – конец. В “Лалитавистаре”¹⁰ Будды, в “Екклизиасте” Соломона слышится голос не воскрешающего духа, а лишь умирающей плоти. В тоске пресыщенных эпикурейцев, в *teadium vitae** римского упадка, в философском черепе среди роз и кубков пиршественной трапезы есть грубая, чуждая эллинскому духу и плоти, плотскость, старческий материализм обездушенной, обезбоженной культуры. Ведь самое чистое, совершенное христианство так же доверчиво к жизни, бесстрашно к смерти, так же умеет переходящее делать непреходящим, как совершенное эллинство. Пусть лилии полевые завтра увянут и будут брошены в огонь, все-таки сегодня сыны царствия Божия радуются тому, что “и царь Соломон во славе своей не одевался так, как всякая из них”¹¹. Улыбка Франциска Ассизского, поющего гимн солнцу после крестных мук Альвернского видения¹², напоминает улыбку Софокла, поющего гимн богу вина и веселья, богу Дионису, после кровавых ужасов Эдиповой трагедии. И здесь, и там – младенческая ясность, тишина последней мудрости. Только остановившиеся на полпути, уже не прежние, еще не будущие, отставшие от одного берега и не приставшие к другому безысходно “теряются, по слову Гете, в созерцании земного ничтожества”¹³. Чрезмерный страх смерти почти всегда служит показателем религиозного бессилия и религиозной бездарности.

В “Детстве” Л. Толстой описывает впечатления ребенка от смерти матери. Он смотрит на нее, лежащую в гробу.

“Я не мог поверить, чтобы это было ее лицо. Я стал вглядываться в него пристальнее и мало-помалу стал узнавать в нем знакомые, милые черты. Я вздрогнул от ужаса, когда убедился, что это была она; но отчего закрытые глаза так впали? Отчего эта страшная бледность и на одной щеке черноватое пятно под прозрачной кожей?”

“...Панихида кончилась; лицо покойницы было открыто и все присутствующие, исключая нас, один за другим стали подходить к гробу и прикладываться... Одной из последних подошла проститься с покойницей какая-то крестьянка с хорошенькою пятилетней девочкой на руках, которую, Бог знает зачем, она принесла сюда. В это время я нечаянно уронил свой мокрый платок и хотел поднять его; но только что я нагнулся, меня поразил страшный пронзительный крик, исполненный такого ужаса, что, проживи я сто лет, я никогда его не забуду и когда вспомню, всегда пробежит холодная дрожь по моему телу. Я поднял голову – на табурете, подле гроба, стояла та же крестьянка и с трудом удерживала в руках девочку, которая, отмахиваясь ручонками, откинув назад испуганное личико и уставив выпученные глаза на лицо покойницы, кричала страшным, неистовым голосом. Я вскрикнул голосом, который, я думаю, был еще ужаснее того, который поразил меня, и выбежал из комнаты”.

Можно сказать, что тот безумный крик никогда с тех пор не умолкал в произведениях Л. Толстого. Душу целого поколения заразил он своим ужасом. Если в наше время люди боятся смерти, с такой постыдной судорогой, какой еще никогда не бывало, если у всех нас в глубине сердца, в крови и в плоти есть эта “холодная дрожь”, до мозга костей пробирающий озноб, о котором Данте говорит по поводу грешников, замерзших в адском озере: “тогда прошел по мне оз-

* *teadium vitae* (лат.) – отвращение к жизни.

ноб, он и теперь по мне, как вспомню их, проходит”¹⁴, то в значительной мере мы этим всем обязаны Л. Толстому.

Он заимствовал, впрочем, рассказ о смерти матери Николая Иртеньева не из собственных воспоминаний: мать Льва Николаевича умерла, когда ему было года три¹⁵; помнить ее не мог он и при смерти ее не присутствовал. По-видимому, однако, в рассказе героя “Детства” он изображает с такою ужасающею, почти циническою, отталкивающею правдою страх смерти, врожденный в него, в такой мере ему одному свойственный, пробудившийся в нем с первыми проблесками сознания и с тех пор никогда его не покидавший.

Много лет спустя, уже в пору возмужалости, при полном свете сознания, находит он в душе своей тот же самый страх и так же перед ним беспомощен или даже еще более, чем в детстве.

Фету из Гиера, близ Ниццы, 17 октября 1860 года пишет он о смерти брата Николая:

«20 сентября он скончался на моих руках, в буквальном смысле слова. Никола в жизни ничто не производило на меня такого впечатления. Он был прав, когда говорил мне, что ничего нет хуже смерти, и если подумать, что в конце концов смерть есть неизбежный конец всего живущего, то приходится сознаться, что нет ничего хуже самой жизни. К чему все заботы, если в конце концов от того, чем был некогда Николай Николаевич Толстой, ничего не остается? Он никогда не говорил, что чувствует близость смерти, и, однако, я знаю, что он следил за нею шаг за шагом и прекрасно знал, сколько времени ему еще остается жить. За несколько минут до смерти он задремал. Вдруг он вскочил и с ужасом прошептал: “Что это? Он увидел свой переход в ничто. Но если и он не знал, за что удержаться, что же я найду? Конечно, еще меньше”»¹⁶.

В этом письме, удивительном и ужасном своей искренностью, более всего поражает простодушный, бессознательный и до последней, цинической грубости обнаженный материализм, бездушная плотскость. Никакого колебания, никакого возможного вопроса и сомнения в том, что смерть есть “переход в ничто” – даже никакой тайны. Ужас безысходный, бесплодный, бессмысленно уничтожающий, иссушающий самые родники жизни. Это как еретики-жидовствующие, русские нигилисты XV века, говаривали: “А что то царство небесное? А что то второе пришествие? А что то воскресение мертвых? Ничего того несть. Умер кто – ин по та места и был”¹⁷. Или, как выражается дядя Ерощка: “Умру – трава вырастет”. Глухая стена, русская “глухая нетовщина”.

Через двадцать пять лет, уже долго спустя после своего христианского обращения, выразил он это же самое чувство животного, бессмысленного ужаса в “Смерти Ивана Ильича”:

“Он оставался опять один с нею. С глазу на глаз с нею; а делать с нею – нечего. Только смотреть на нее и холодеть”.

Мы знаем, что в течение всей своей жизни, во многих случаях действительной опасности Л. Толстой отличался мужеством телесным, даже отвагою. Ему был почти приятен свист пуль на страшном четвертом бастионе в Севастополе: он наслаждался тем, что побеждал страх смерти силою жизни. Всего менее думал он также о смерти, когда однажды в Пятигорской станице в упор стрелял в бешеного волка или когда на охоте лежал под медведицею, которая едва не смя-

ла его и не содрала ему кожу с черепа, так что “над глазами лохмотьями висело мясо”, и на снегу было столько крови, “точно барана зарезали”¹⁸, а он, поднявшись из-под зверя, забыв раны, не чувствуя боли, только весь трясся и кричал в охотничьей ярости, тоже сильно напоминающей дядю Ерошку: “Где медведь? Куда ушел?”

Нет, страх смерти происходит в нем вовсе не из телесной робости: этот страх, иногда, может быть, доходящий до трусости, – более внутренний, глубокий и, в первом источнике своем, несмотря на всю животность, все-таки отвлеченный, – так сказать, метафизический.

И тем больше пугают эти внезапные черные провалы, что они встречаются в душе его и в произведениях рядом с величайшею любовью к жизни: это как будто те обманчивые болотные *окна*, которые сверху покрыты самою зеленою, свежую травую, самыми яркими цветами и манят издали путника, но только что нога его ступает на них, он проваливается, и тина засасывает его.

Что же это за чуть видимый волосок, от которого все колеса машины вдруг соскакивают с осей, и гармония превращается в хаос? Откуда эта капля яда, которая отравляет ему душу, так что сладчайший мед жизни становится полынью?

Вспоминая свои ребяческие “умствования”, уничтожившие в нем, как он выразился, “свежесть чувства и ясность рассудка”, уже и тогда приводившие его к болезненному страху смерти, вследствие которого он то в буддийском покаянии стегал себя по голой спине веревкою, то в Соломоновской безнадежности, бросая уроки, ел пряники с кроновским медом, – причину этих умствований находит он сам в “неестественно развившемся сознании”. Действительно, исследуя внутреннюю жизнь Л. Толстого на всем ее протяжении, нельзя не прийти к выводу, что между сознательной и бессознательной стороной его духовного развития существует несоответствие, неравновесие. Если ли, однако, это несоответствие заключается именно в чрезмерной силе сознания. Мы, по крайней мере, имели случай наблюдать, что и гораздо большая сила сознания, чем у Л. Толстого, например, у Гете, гармонического строя душевной и умственной жизни вовсе не нарушала, скорее даже увеличивала. Нет, не в чрезмерности сознания заключается одна из важнейших причин надломленности, болезненности в нравственном и религиозном развитии Л. Толстого, а, напротив – в недостатке, в незавершенности сознания. Оно у него чрезвычайно острое или, во всяком случае, изощренное, напряженное, но не всеобъемлющее, не всепроникающее. Оно светит ярко, но не изнутри, как солнце из-за прозрачного воздуха, насквозь пронизанного им, а извне, как маяк светит на темную поверхность моря. Сколь ни ярки и ни длины лучи этого маяка-сознания, бессознательная стихийная жизнь в нем так бездонно-глубока, что все-таки остается в ней последний, как бы подводный мрак, ни для каких лучей непроницаемый. А главное то, что его сознание развивалось не только извне, отдельно, не только в другом, но и в совершенно противоположном направлении, чем его бессознательная жизнь, так что всегда в нем было как будто два человека, и всегда один из них желал желать того, чего другой не желал. Это внутреннее разногласие, раздвоение – подобно сначала едва видимой, но мало-помалу углубляющейся трещине колокола, которая дает ложный звук: чем громче, могущественнее гул колокола, тем назойливый, дребезжащий звук все мучительнее, все болезненнее.

Припадок страха смерти, который в конце семидесятых годов едва не довел его до самоубийства, как мы уже знаем, был не первым и, кажется, не последним, во всяком случае – не единственным. Нечто подобное испытал он пятнадцать лет назад при смерти брата Николая. Тогда он чувствовал себя больным и предполагал в себе ту же болезнь, от которой умер брат – чахотку. В груди и в боку была постоянная боль. Он должен был уехать лечиться в степь на кумыс и, действительно, вылечился.

Прежде эти обычные припадки душевного или телесного недуга залечивались в нем не какими-либо умственными или нравственными переворотами, а просто силою жизни, ее избытком и опьянением. Оленин при мысли о смерти, так же, как Лев Толстой под севастопольскими ядрами, сознает в себе “присутствие всемогущего бога молодости”.

Почему же именно этот переворот конца семидесятых годов имел для него такое решающее, как будто единственное значение? Сам он объясняет это причинами духовными. Но не было ли и здесь так же, как в прежних переворотах, и причин телесных? Не было ли особого чувства, свойственного людям в предстарческие годы, когда они ощущают всем своим не только духовным, но и плотским составом, что до сих пор шли в гору, а теперь начинают спускаться под гору?

«Пришло время, – говорит он в “Исповеди” об этом именно времени своей жизни, о начале своих шестидесятых годов, – когда рост во мне прекратился, я почувствовал, что не развиваюсь, а ссыхаюсь, мускулы мои слабеют, зубы падают».

Тут слышится глубоко-плотская, почти анакреоновская жалоба¹⁹, хотя без анакреоновской ясности:

Поредели, побелели
Кудри – честь главы моей,
В деснах зубы ослабели,
И потух огонь очей²⁰.

Точно так же Левин ночью, один в номере скверной гостиницы, где умирает брат его Николай, – смерть Николая Левина весьма напоминает смерть Николая Толстого, – охваченный этим ощущением приближающейся старости, этим животным ужасом, подобным ознобу, пробирающему до мозга костей, вдруг понимает всем телесным составом, “что все кончится, что – смерть”.

“Он зажег свечу и осторожно встал и пошел к зеркалу и стал смотреть свое лицо и волосы... Да, в висках были седые волосы. Он открыл рот. Зубы задние начинали портиться. Он обнажил свои мускулистые руки. Да, силы много. Но и у Николеньки, который там дышит остатками легких, тоже здоровое тело”.

“Что такое значит: идет жизнь? – пишет Л. Толстой в 1894 году, – идет жизнь значит: волосы падают, зубы портятся, морщины, запах изо рта. Даже прежде, чем все кончится, все становится ужасным, отвратительным, видны размазанные румяна, белила, пот, вонь, безобразие. Где же то, чему я служил? Где же красота? А она – все. А нет ее – ничего нет. Нет жизни”²¹.

В том письме от 1881 года, в котором гр. Софья Андреевна уверяет брата, что Лев Николаевич совершенно изменился, “стал христианин самый искренний

и твердый”, она также сообщает, что он “поседел, *ослаб здоровьем* и стал тише, унылее, чем был”²².

В высшей степени замечательна эта сквозь всю его жизнь проходящая связь духовных переворотов с прибылью и убылью, приливами и отливами телесного здоровья, силы – седеющими волосами, морщинами, испорченными зубами, запахом изо рта, ссохшимися мускулами.

Отлетел “всемогущий бог молодости”. Исчезло опьянение жизнью. “Можно жить, – признается он, – только покуда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это – только обман, и глупый обман. Не нынче – завтра придут болезни, смерть на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей”²³.

Разногласие, раздвоение его сознательной и бессознательной жизни, эта сперва чуть заметная трещина, постепенно углубляясь, превратилась, наконец, в ту зияющую “пропасть”, о которой он говорит в “Исповеди”, и дойдя до которой, он “ясно увидел, что впереди ничего нет, кроме гибели”.

“И что было хуже всего – это то, что *она*, смерть, отвлекла его (Ивана Ильича) к себе не за тем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нее, прямо ей в глаза, смотрел на нее и, ничего не делая, невыразимо мучился”. И он оставался “один с нею. С глазу на глаз с *нею*; а делать с *нею* нечего. Только смотреть на нее и холодеть”.

“И, спасаясь от этого состояния, он искал утешения, других ширм, и другие ширмы являлись и на короткое время спасали его, но тотчас же опять не столько разрушались, сколько просвечивали, как будто *она* проникала через все, и ничто не могло заслонить ее”.

Тогда наступил тот последний ужас, который был так велик, что “он хотел поскорее избавиться от него петлей или пулей”²⁴.

Тертуллиан утверждает, что человеческая душа “по своей природе христианка”²⁵. Но все ли души христианки? Не рождаются ли некоторые из них язычниками? Кажется, именно у Л. Толстого такая душа – “урожденная язычница”.

Если бы глубина его сознания соответствовала глубине его стихийной жизни, он понял бы, наконец, что ему нечего бояться или стыдиться своей души-язычницы, что она дана ему Богом, и своего Бога, свою веру нашел бы в бесстрашной, бесконечной любви к себе так же, как люди с душами, по природе своей – христианками, находят своего Бога в бесконечном самопожертвовании и самоотречении.

Но, вследствие глубокого несоответствия, неравновесия между его сознанием и бессознательной стихией, ему оставалось одно из двух: или подчинить свое сознание своей стихии, что он и делал в первой половине жизни; или, наоборот, свою стихию – своему сознанию, что он попытался сделать во второй половине жизни; и в последнем случае он должен был неминуемо прийти к выводу, что всякая любовь к себе, всякая жизнь и развитие обособленной личности есть нечто плотское, животное, а следовательно, преступное, злое, бесовское, то, чему не следует быть, и уничтожение чего есть высшее, единственное благо. Действительно, он и дошел до этого вывода, решил до конца возненавидеть и погубить душу свою, чтобы спасти ее. Когда он писал “Исповедь”, ему казалось, что он уже этого окончательно достиг, что он открыл совершенную истину и что боль-

ше искать нечего. В заключительных страницах обличает он и судит уже не себя, а только других, называет всю человеческую культуру “баловством”, людей, принадлежащих к ней, – “паразитами”. Он прямо говорит: “я возненавидел себя... теперь мне все ясно стало”.

Но через три-четыре года после “Исповеди” это “ясное” мало-помалу снова замутилось и запуталось.

Уже в 1882 году, во время московской переписи и после осмотра Ляпинского ночлежного дома, когда убеждал он знакомых своих, богатых людей, соединиться, чтобы посредством частной христианской благотворительности спасти сначала Москву, потом Россию, наконец, все человечество, – совесть его была не спокойна. Напряженность, неуверенность, дребезжащий ложный звук надтреснутого колокола слышится в этом призыве, столь непросто, написанном на столь несвойственном Льву Толстому языке, напоминающем слог растопчинских афиш двенадцатого года²⁶: “давайте мы, по-дурацки, по-мужицки, по-крестьянски, по-христиански, налегнем народом, не поднимем ли. Дружней, братцы, разом”²⁷.

Когда, собирая деньги для бедных, излагал он в знакомых домах свой новый план спасения мира, ему казалось, что слушателям становится неловко: “им было как будто совестно, и преимущественно за меня, за то, что я говорю глупости, но такие глупости, про которые никак нельзя прямо сказать, что это глупости. Как будто какая-то внешняя причина обязывала слушателей потакать этой моей глупости”²⁸. И после речи в Думе, разговаривая с руководителями переписи, опять почувствовал он, что они говорили ему взглядами: “ведь вот смазали, из уважения к тебе, твою глупость, а ты опять с ней лезешь!”²⁹

Наконец величайшая и новая, как он полагал, истина о том, что частная благотворительность – вздор, открылась ему из самого простого арифметического расчета. Однажды вечером, в субботу, плотник Семен, с которым Лев Николаевич пилил дрова, подходя к Дорогомиловскому мосту, подал старику-нищему три копейки и попросил две копейки сдачи. Старик показал на руке две трехкопеечные и одну копейку. Семен посмотрел, хотел взять копейку, но потом раздумал, снял шапку, перекрестился и прошел, оставив старику три копейки.

У Семена, как известно было Льву Николаевичу, сбережения равнялось 6 рублям 50 копейкам, а у него, Льва Николаевича, 600 тысяч рублей. “Семен, – подумал он, – дал 3 копейки, а я 20. Что же дал он и что я. Что бы я должен был дать, чтобы сделать то, что сделал Семен? У него было 600 копеек, он дал из них одну и потом еще две. У меня было 600 тысяч. Чтобы дать то, что Семен, мне надо дать 3000 рублей и попросить 2000 сдачи и, если бы не было сдачи, оставить и эти две тысячи старику, перекреститься и пойти дальше, спокойно разговаривая о том, как живут на фабриках и почему печенка на Смоленском”³⁰.

Нельзя было не сделать последнего потрясающего вывода из этого расчета: “Я дам 100 тысяч и все не стану в то положение, в котором можно делать добро, потому что у меня еще останутся 500 тысяч. Только когда у меня *ничего не будет*, я в состоянии делать хоть маленькое добро. То, что с первого раза сказалось мне при виде голодных и холодных у Ляпинского дома, именно то, что я виноват в этом и что так жить, как я живу, нельзя, и нельзя, и нельзя – это было одно правда”.

Все здание, воздвигнутое с такою мукою, с таким отчаянным напряжением сил, сразу обвалилось, рухнуло – и снова пришлось ему обличать себя и всенародно каяться:

“Я весь расслабленный, ни на что негодный паразит. И я, та вошь, пожирающая лист дерева, хочу помогать росту и здоровью этого дерева и хочу лечить его”.

Только теперь, казалось ему, понял он слово Христа: тот, кто не оставит всего – и дома, и детей, и полей – для того, чтобы идти за Ним, тот не Его ученик³¹.

И новый переворот, новое перерождение совершилось в нем.

Ему стало ясно, что не только не “возненавидел себя” и не нашел истины, как думал, когда писал “Исповедь”, но и не начинал ее искать. И вместе с тем он уверился, что на этот раз уже окончательно и навсегда все стало для него ясным и осуществление новой истины казалось ему простым: “стоит только человеку не желать иметь земли и денег“, чтобы войти в Царствие Божие. Он убедился, что зло, от которого мир погибает, – собственность – “не есть закон судьбы, воля Бога или историческая необходимость, а есть суеверие, несколько не сильное и не страшное, а слабое и ничтожное”, и что освободиться от этого суеверия, разрушить его так же легко, как “разрушить слабую паутину”³².

И он решил исполнить заповедь Христа, покинуть все – и дом, и детей, и поля, раздать свои 600 тысяч и сделаться нищим, чтобы иметь право делать добро.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

“Многие подумают, – замечает в своих “Воспоминаниях” брат графини Софьи Андреевны Толстой, – что я умолчал, конечно, о том, что было бы не в пользу Льва Николаевича. Но это предположение не верно, потому что даже нет ничего такого, что приходилось бы скрывать от посторонних”.

Вот смелые слова. Мы ведь знаем, что у величайших святых и подвижников были минуты падения и слабости. У самого верного из учеников Господних было на душе предательство. Но, впрочем, г. Берсу и книги в руки; он пишет не жизнь, а житие.

Удивительнее подобное признание в устах самого Л. Толстого, который, по свидетельству слышавшего, часто говорит в последнее время: “у меня ни от кого на свете нет никаких тайн! Пусть все знают, что я делаю!”¹.

Слова необычайные. Кто же этот, дерзнувший сказать, “я ничего не стыжусь”? Человек ли, бесконечно презирающий людей, или в самом деле святой?

Бывают в жизни каждого человека минуты особого значения, которые соединяют и обнаруживают весь смысл его жизни, определяют раз навсегда, кто он и чего стоит, дают как бы внутренний разрез всей его личности до последних глубин ее сознательного и бессознательного, – минуты, когда вся дальнейшая судьба человека, решаясь, как бы колеблется на острие меча, готовая упасть в ту или в другую сторону.

Такой именно минутой в жизни Л. Толстого было решение раздать имущество. Но вот – не странно ли? Вплоть до этой минуты, мы имеем самые подроб-

ные дневники его, исповеди, покаяния, признания, которые позволяют следить за каждым движением его сознания и совести. Но тут они вдруг изменяют нам, обрываются. Он, который столько говорил о себе, вдруг умолкает и – навсегда. Конечно, мы не нуждались бы ни в каких признаниях, если бы уже не слова, а дела его говорили о нем с достаточной ясностью. Но именно внешняя жизнь его, дела еще более, чем слова, оставляют нас в недоумении. Что же касается внутренней стороны его жизни, о ней мы узнаем только из намеков, из немногих, как бы нечаянно вырвавшихся у него и подслушанных, но едва ли понятых свидетелями слов, или из их собственных поверхностных рассказов, узнаем нечто столь неожиданное и противоречивое, что наше недоумение увеличивается.

“Об отношении к своему состоянию, – сообщает Берс, – Лев Николаевич говорил мне, что он хотел избавиться от него, как от зла, которое тяготило его при его убеждениях; но он поступал сначала неправильно, желая перенести это зло на другого, то есть *непреренно раздать его*, и этим породил другое зло, а именно – *энергический протест и большое неудовольствие своей жены*. Вследствие этого протеста он предлагал ей перевести все состояние на ее имя, и когда она отказалась, он то же, и безуспешно, предлагал своим детям”.

Однажды, рассказывает другой свидетель (г. Сергеенко. “Как живет и работает гр. Л.Н. Толстой”), встретил он на улице одного знакомого и разговорился с ним. Оказалось, что тот живет холостяком, обедает, где ему нравится, и может во всякое время уединиться в Москве, как на необитаемом острове”². Рассказав об этой встрече, Лев Николаевич добавил с улыбкою:

– И так я позавидовал ему, что даже совестно сказать. Подумайте только: человек может, *как ему угодно* жить, не причиняя никому страданий. Право же, это – счастье!

Что это? Что за шутка? Что за “улыбка”? И какая недосказанная горечь в ней?

А вот еще более странное, даже как будто жуткое признание:

“Друга я себе буду искать между мужчинами. И никакая женщина не может заменить мне друга. Зачем же мы лжем нашим женам, что мы считаем их нашими истинными друзьями? Ведь это не правда же?”³

Неужели и это говорил он с улыбкою? И это шутка? Счастливейший семьянин, подобие в современной жизни древнебиблейских патриархов, Авраама, Исаака и Иакова, проживший со своею супругою тридцать семь лет душа в душу, вдруг, в конце жизни, завидует свободе холостяка, как будто собственная семейная жизнь его – тайное рабство, и дает понять почти чужому человеку, что он не считает жену свою достойной имени друга.

И тот же самый свидетель, который только что прославлял семейное счастье Л. Толстого, тут же, подходя с легким сердцем, с невозмутимой ясностью, замечает: “в мировоззрениях своих они (Лев Николаевич и Софья Андреевна), однако, расходятся”⁴. Но ведь “мировоззрения” – это самое святое, что есть у него. И если расходятся они в этом, то в чем же сходятся? Разве можно отделяться от этого шуткою?

Еще, однако, поразительнее то, что сообщает Берс о чувствах “переродившегося” Л. Толстого к жене:

«Теперь к жене своей Лев Николаевич относится с оттенком требовательности, упрека и даже неудовольствия, обвиняя ее в том, что она препятствует ему раздать состояние и продолжает воспитывать детей в прежнем духе. Жена его, в свою очередь, считает себя правою и сетует на такое отношение к ней мужа. В ней поневоле развились страх и отвращение к учению (толстовскому) и последствиям его. Между ними даже установился тон взаимного противоречия, в котором слышатся жалобы друг на друга. Раздать состояние чужим людям и пустить детей по миру, когда никто не хочет исполнять того же, она не только не находит возможным, но и считала своим долгом воспрепятствовать этому, как мать. Выказав мне это, она со слезами на глазах прибавила:

“Мне теперь трудно, я все должна делать одна, тогда как прежде была только помощницей. Состояние и воспитание детей – все на моих руках, меня же обвиняют за то, что я делаю это и не иду просить милостыню! Неужели я не пошла бы с ним, если б у меня не было малых детей? А он все забыл для своего учения”».

И, наконец, последнее, уже самое невероятное признание:

“Жена Льва Николаевича, чтобы сохранить состояние для детей, *готова была просить власти об учреждении опеки над его имуществом*”.

Опека, учреждаемая гр. Софьей Андреевной над Л. Толстым! Да ведь это трагедия, может быть, величайшая в современной русской, и уж во всяком случае – в его жизни. Это и есть то острие меча, на котором вся судьба человеческая, решаясь, колеблется. И мы об этом узнаем от случайных наблюдателей, от праздно любопытствующих. И это ужасное происходит в самом темном, тайном углу его жизни, глухо и немо. Ни слова от него самого, который всю жизнь только и делал, что исповедывался, который и теперь утверждает, что ему нечего скрывать от людей.

Как же он, однако, вышел из этой трагедии? Или почувствовал, что опять ошибся в действительных размерах сил своих, что казавшееся легким и простым – на самом деле бесконечно трудно и сложно и что “суеверия собственности” – не “слабая паутина”, а самая тяжкая из житейских цепей, последнее звено которой в сердце, в плоти и в крови человека, так что вырвать его из сердца можно только с плотью и кровью. Понял ли он великое и страшное слово Учителя: враги человеку домашние его?⁵

Мы знаем, как поступали в таких же точно случаях христианские подвижники прошлых веков. Когда Пьетро Бернардоне, отец св. Франциска Ассизского, подал епископу жалобу, обвиняя сына в том, что он расточает имение, хочет раздать его бедным, Франциск, сняв с себя одежду до последней рубашки, сложил платье вместе с деньгами к ногам отца и сказал: “до сей поры называл я Пьетро Бернардоне отцом моим, но теперь, желая послужить Богу, возвращаю этому человеку все, что я взял от него, и отныне буду говорить: не отец мой Пьетро Бернардоне, а Господь, небесный мой отец”. И совершенно голым, каким вышел из утробы матери, прибавляет легенда, бросился Франциск в объятия Христа.

Так же поступил любимый русским народом угодник, Алексей, Божий человек⁶, тайно бежавший из родительского дома. Так и донныне поступают все рус-

ские подвижники, пожелавшие исполнить заповедь Христа: кто не покинет и дома, и полей, и детей во имя Мое, тот не достоин меня⁷.

Роздал Влас свое имение,
 Сам остался бос и гол
 И собирать на построение
 Храма Божьего пошел...
 Сила вся души великая
 В дело Божие ушла.

С той поры мужик скитается
 Вот уж скоро тридцать лет,
 Подаянием питается,
 Строго держит свой обет⁸.

Так вот что должно было совершиться: великий писатель русской земли должен был сделаться подвижником русского народа – явление небывалое, единственное в нашей культуре – снова найденный религиозный путь через бездну, вырытую Петровским преобразованием между нами и народом.

Недаром взоры людей с такою жадностью устремлены на него – не только на все, что он пишет, но еще гораздо больше на все, что он делает, на самую частную, внутреннюю, семейную и домашнюю жизнь его. Нет, тут не одно праздное любопытство. Тут слишком важное для всех нас, для всего будущего русской культуры. Тут уже никакое опасение быть нескромным не должно нас удерживать. Не сам ли он сказал: “у меня нет никаких тайн ни от кого на свете – пусть все знают, что я делаю”.

Что же он делает?

“Не желая противиться жене насилием, – говорит Берс, – он стал относиться к своей собственности так, как будто ее не существует, и отказался от своего состояния, стал игнорировать его судьбу и перестал им пользоваться, *если не считать того, что он живет под кровлею яснополянского дома*”. Как же, однако, “если не считать”? Что это значит? Он исполнил заповедь Христа: покинул и дом, и поля, и детей – “если не считать того”, что по-прежнему остался с ними? Он сделался нищим, бездомным, роздал свое имение, если не считать того, что согласился, из боязни огорчить жену, сохранить свое имение? И о каком тут “зле”, о каком “насилии над женою” идет речь? Конечно, Христос насилия не проповедывал. Он не требовал, чтобы человек отнимал имение у жены и детей, чтобы раздать его бедным, но он действительно требовал – и как точно, как ясно, – чтобы, если нельзя человеку освободиться иначе от собственности, он покинул вместе со своими полями, домом, имением и жену, и детей, взял крест свой и шел за Ним, чтобы он по крайней мере понял до конца это слово: враги человеку домашние его.

Но ведь это свыше сил человеческих, это – восстание на собственную плоть и кровь? А разве все учение Христа, по крайней мере, понятное с одной стороны, именно так, как понимает его и Толстой, не есть восстание на собственную плоть и кровь? Господь и не считал это легким, не говорил, что отречься от собствен-

ости значит разрушить “слабую паутину”. Он предвидел, что это – самая тяжелая цепь для человека, последнее звено которой можно вырвать из сердца только с плотью и с кровью, что нельзя освободиться от нее иначе, как расторгнув амые живые, любовные, кровные человеческие связи, покинув вместе с имуществом и отца, и мать, и жену, и детей. Вот почему сказал Он с такой бесконечно-рустною и бесконечно-милосердною усмешкою: истинно, истинно говорю вам, егче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в царствие Божие⁹.

Так Он сказал. Что же говорит Л. Толстой? Но он молчит, как будто дела го говорят за него, или как будто тут никакого противоречия нет, никакой традиции нет, как будто все для него по-прежнему легко, ясно и просто. Только гранная легенда, житие этого современного святого отвечает за него: “он *стается закрывать глаза* и весь уходит в исполнение своей программы жизни. Он е хочет видеть денег, по возможности избегает даже брать их в руки и никогда е носит при себе” (Анна Сейрон). И ему настолько удалось примирить волю жеы с волею Бога, что “в последнее время, – замечает Берс, – Софья Андреевна тала относиться спокойнее к учению своего мужа – она свыклась”. Так вот ный способ, оставаясь верблюдом, проходить сквозь игольное ушко – “не брать енег в руки”, “не носить их при себе” и “закрывать глаза”.

Полно, не ирония ли это, не самая ли злая насмешка над ним, над нами и над чением Христа? И ежели это имеет какой-нибудь смысл перед судом человеческим, то перед Божьим судом, что же, наконец, исполнил ли он заповедь Христа ли не исполнил, роздал ли имение или не роздал? Тут не может быть двух ответов, не может быть середины, тут одно: или да, или нет.

Мы не знаем, что он сам об этом думает и что чувствует, не видим внутренней стороны его жизни, зато внешнюю знаем до последней подробности: благояря рысьим глазам бесчисленных газетных вестовщиков, стены дома его сделались прозрачными, как бы стеклянными. Мы видим, как он ест, пьет, спит, одается, работает, тачает сапоги и читает книги. Может быть мелочи эти, иногда толь, знаменательные, дадут нам ключ к тайнику его совести? – Но вот, по мее того, как мы наблюдаем, вникаем, наше смущение не только не проходит, а ще усиливается.

С особенною тщательностью свидетели описывают довольство и обилие, до рая полную хозяйственную чашу, или, как один из них выражается, – “выдержанность и солидность старинного барства” в доме Толстых¹⁰. Мы видим этот ебольшой двухэтажный в Долго-Хамовническом переулке особняк, который имнею ночью издали светится окнами между белыми, опущенными инеем, девьями старинного сада. Внутри все дышит приветливой, уютной веселостью и неуловимо благородною простотою”: широкая лестница, высокие, светлые, неного пустынные залы, лишённые всяких ненужных украшений, старинная гладая мебель красного дерева и “учтивый лакей” во фраке, в белом галстухе, встречающий посетителей, о котором мы должны помнить, что Лев Николаевич е пользуется его услугами, так как сам убирает свою комнату, даже возит воду бочке, не на лошади, а на себе. Кабинет “напоминает простотою кабинет Пасяля”. Это небольшая низкая комната с тянущейся под потолком железною труою. “Когда в начале 80-х годов, – сообщает Сергеенко, – шла перестройка все-

го дома, то Лев Николаевич не хотел отдавать свой кабинет в жертву богу роскоши, уверяя графиню, что многие полезнейшие деятели живут и работают в несравненно худших помещениях, чем он". Но едва ли ни с большим правом мог бы он сказать, что немногие "деятели" живут и работают в лучших комнатах, чем он. В ней нет ничего лишнего – ни картин, ни ковров, ни безделушек. Но опытные работники знают, что все ненужное только развлекает, мешает сосредоточению мысли. Железная труба под потолком кажется некрасивою. Но она устроена для него нарочно, по требованиям новейшей гигиены, одним из его знакомых: "особенность ее заключается в том, что она, при помощи одной лампы, отлично вентилирует и отчасти согревает рабочий кабинет"¹¹. Всегда чистый воздух, равномерное тепло. Чего же лучше? Но главное достоинство этой комнаты – тишина. После перестройки дома оставшийся неприкосновенным кабинет Льва Николаевича очутился "как бы между небом и землею". Это испортило боковой фасад дома. "Зато в отношении тишины и спокойствия кабинет только выиграл". Окна выходят в сад. Ни один звук не долетает с улицы. Отдаленное от жилых покоев убежище это "всегда полно тишины, располагающей к размышлению". Только те, кто всю жизнь проводит в созерцании, умеют ценить по достоинству величайшее удобство комнаты – ее совершенное уединение и спокойствие, ненарушимое, надежное безмолвие. За это можно отдать все. Это – блаженство и глубокая нега, единственная и незаменимая роскошь мыслителей. И как она редко, как трудно достижима в современных больших городах. В сравнении с этою истинною роскошью, какими варварскими кажутся мещанские затеи нашего изнеженного и в самой изнеженности огрубелого, на американский лад одичалого вкуса.

Еще приятнее, еще безмолвнее рабочая комната Льва Николаевича в яснополянском доме, в затишье старинного парка с аллеями вековых берез и лип, в заповедном дворянском гнезде, одном из прелестнейших уголков средней России. Комната эта, с некрашеным полом, сводчатым потолком и толстыми стенами, прежде была кладовою. В самые знойные летние дни здесь "прохладно, как в погребке". Различные инструменты – лопата, коса, пила, щипцы, напилки – придают убранству наивную, напоминающую детство, свежую прелесть Робинзовского жилища. Эти два рабочих кабинета – зимний и летний – настоящие тихие, роскошно-простые кельи современного ученика Эпикура¹², умеющего, как никто, извлекать из телесной и духовной жизни самые чистые, невинные, никогда не изменяющие радости.

И все в доме, по мере сил и возможности, соответствует благородному, утонченному вкусу хозяина, его любви к *роскошной простоте*. Гр. Софья Андреевна заботится, чтобы никакая житейская мелочь не оскорбляла его, не тревожила. "Все сложное и хлопотливое дело по хозяйству и по управлению делами находится на ее попечении. Помощников у нее нет"¹³. А между тем величайший порядок царствует в доме. Кучер Толстых не даром говорил Сергеенке, что графиня "страсть как порядок любит". «Она неутомима и всюду вносит свою живую энергию, домовитость и распорядительность. Стоит ей уехать по делам на день, на два из Ясной Поляны, и сложная машина, называемая "домом", уже начнет поскрипывать и давать перебои. Она превосходная хозяйка, внимательная, обходительная, хлебосольная. Естся и спится в Ясной Поляне как дома».

За всегда обильным, умеренно простым и вместе с тем роскошным столом Льву Николаевичу подаются особые растительные блюда. Вегетарианство доставляет графине множество хлопот: “она относится к нему отрицательно и только терпит его в доме, как своего рода крест” – так оно трудно и сложно. Но не ропщет, сама иногда следит на кухне за приготовлением новых блюд, и достигла, наконец, того, что растительный стол в Ясной Поляне так же вкусен, питателен и даже почти так же разнообразен, как мясной. Лев Николаевич, может быть, никогда не узнает, чего ей это стоило, и что такие растительные блюда, какие он имеет, при всей простоте своей, на самом деле, *роскошнее*, изысканнее мясных, потому что требуют гораздо большей изобретательности, нового творческого искусства, любовного внимания и терпения хозяйки. И уж, конечно, если бы он, подобно дяде Власу, ходил по большим дорогам или, как это он советовал старшему сыну, нанялся бы в батраки к мужику, ему не удалось бы с такою точностью соблюдать вегетарианский пост, может быть, даже пришлось бы поневоле есть запретную “убоину”, какую-нибудь селедку или печенку со Смоленского. Зато теперь жидкая овсяная похлебка, которую он любит, едва ли не вкуснее самых дорогих и сложных супов, приготовляемых тысячными поварами; ячменный кофе с миндальным молоком, если не так душист, как чистый мокко, зато насколько здоровее. К тому же, телесная усталость, голод и жажда – лучшие приправы блюд: он помнит воду в бруснице, которой после косьбы старый крестьянин угостил однажды Левина.

– Ну-ка, кваску моего! А, хорош? – говорил мужик, подмигивая.

И действительно, Левин никогда не пивал такого напитка, как эта теплая вода с плавающей зеленью и ржавым от жестяной брусницы вкусом. – Старик накрошил в чашку хлеба, размыл его стеблем ложки, налил воды из брусницы, еще разрезал хлеба и, посыпав солью, стал на восток молиться.

– Ну-ка, барин, моей тюрьки.

Тюрька была так вкусна, что Левин раздумал ехать домой обедать”.

Вот кто умеет есть и пить. Пресыщенным гостям Тримальхиона или современным гастрономам не снились такие наслаждения, которые всегда испытывает этот совершенный эпикуреец.

Одежда его так же проста, как пища, и насколько приятнее, роскошнее нашего некрасивого, уничительно стесняющего тело, не русского, презираемого народом и в сущности угрюмо-аскетического платья. Лев Николаевич носит зимою серые, фланелевые, очень мягкие и теплые – а летом свободные, прохладные блузы своеобразного покроя. И никто не умеет их шить так, чтобы они сидели на нем удобно и просторно – по всей вероятности, искуснейшие портные Парижа и Лондона не угодили бы ему – никто, кроме старухи Варвары из яснополянской деревни, да, может быть, еще Софьи Андреевны. Верхнее платье – кафтаны, тулупы, полушубки, баранья шапка, высокие кожаные сапоги – тоже все не случайного, а глубоко обдуманного покроя, приноровленного к вёдру и ненастью. Они так удобны и приятны, что ими часто, соблазняясь, пользуются гости и домашние. Это настоящая одежда сельского и притом северного эпикурейца.

И в этой одежде свойственно ему даже некоторое, особое, неожиданное щегольство. В юности огорчался он тем, что лицо у него “совсем как у простого му-

жика”. Теперь он этим хвастает. Он любит рассказывать, как на улицах и в незнакомых домах принимают его за настоящего мужика или даже за бродягу.

– “Значит, аристократизм, – заключает он, – не написан на лице!”¹⁴

Однажды Пьер Безухов, тоже нарядившись в мужицкое платье, с ребяческой гордостью залюбовался на свои босые ноги, “с удовольствием переставляя их в различные положения, пошевеливая грязными, толстыми, большими пальцами. И всякий раз, как он взглядывал на свои босые ноги, на лице его пробежала улыбка оживления и самодовольства”. В юности Лев Николаевич страстно мечтал о георгиевском крестике и флигель-адъютантских аксельбантах. Теперь его пленяют уже иные, более современные знаки отличия. Но, в конце концов, не все ли равно, какие именно ордена – дырявые ли онучи или блестящие аксельбанты? Да и он ведь только утешается: аристократизм все-таки написан на лице его неизгладимыми чертами, и под мужичьим полусубком виден в нем прежний безукоризненно светский человек, и даже в этой внешней грубой оболочке светскость, может быть, еще заметнее, еще обаятельнее. Так иногда у самых великодушных восточных тканей основа делается нарочно грубой и шероховатой, чтобы тем роскошнее выступали по ней тонкие искрящиеся нити золотых и шелковых узоров.

Мягких постелей, пуховых подушек он терпеть не может: ему на них томно и душно. Он предпочитает прохладные кожаные изголовья. Но сибарит, который, томясь бессонницей на опостылевшем ложе из роз, мучится неловко повернувшимся лепестком, как бы должен завидовать сну Льва Николаевича на его эпикурейски-мудром, жестком и сладостном ложе!

Идиллический запах навоза трогал чуть не до слез одного из самых чувственных и чувствительных баловней-баричей XVIII века – Жан-Жака Руссо. Лев Николаевич также любит запах навоза. “Однажды утром, – рассказывает Анна Сейрон, – пришел он к завтраку прямо со свежеунавоженного поля. В то время в Ясной Поляне собралось еще несколько пришельцев, охотно занимавшихся удобрением поля вместе с графом. Окна и двери в комнате стояли все настежь открытыми, иначе нельзя было бы дышать. Граф оглядывался на нас весело, с довольной улыбкой”. Он любит и благоухания. После косьбы, уходя с луга, сообщает Берс, непременно вытащит из копны клочок сена и, восхищаясь запахом, нюхает его. “Летом он всегда держит при себе цветок, один, но пахучий. Он держит его на столе, или в руке, или заткнутым за кожаный пояс”. Надо видеть, с каким наслаждением он прижимает его к своим ноздрям, и “при этом во взгляде его на окружающих удивительно-нежное выражение”. Ему также чрезвычайно нравятся французские духи и надушенное белье. “Графиня заботится, чтобы в шкафу его с бельем всегда лежало саше”¹⁵. Так, Лев Николаевич изобрел новый, утонченный способ наслаждения ароматами: после навоза – запах цветка и духов еще упоительнее. Вот символ, вот соединение: под крестьянским, христианским полусубком – белье, надушенное сладострастным шипром или девственной пармскою фиалкою.

Веселый мудрец, который некогда в Аттике, обрабатывая собственными руками крошечный сад, учил людей довольствоваться малым и ни во что не верить ни на небесах, ни на земле, кроме счастья, которое может дать луч солнца, цветок, немного хвороста, горящего зимой, и летом – немного студеной воды из гли-

няной чаши¹⁶, – признал бы во Л. Толстом своего верного и, кажется, единственного ученика в этот варварский век, когда среди безумно изнеженного и все-таки нищенски-грубого, одичалого американского “комфорта” мы все давно забыли, что такое истинная роскошь.

И графиня Софья Андреевна, уже переставшая спорить о разделе имения и потихоньку, с нежно-хитрой, материнской улыбкой прячущая в белье Льва Николаевича саше с его любимыми духами, услуживает, помогает ему, верная и тайная сообщница, в этой новой, трудной и необычайной роскоши. “Она смотрит ему в глаза”, – замечает один из наблюдателей¹⁷. “Она, как неусыпная нянька, заботится о нем, – сообщает другой, – и только на самое короткое время расстается с ним. Изучивши подробно, в течение многих лет привычки мужа, она, по выходе Льва Николаевича из кабинета, уже по одному его виду знает, как ему работалось и в каком он настроении. И если нужно что-нибудь переписать для него, то она немедленно все свои дела, которых у нее всегда полны руки, отложит; и солнце в этот день может не появляться, а к известному часу все, что нужно, непременно будет ею четко переписано и положено на письменный стол”¹⁸. И пусть он кажется неблагодарным, пусть говорит, что жена ему не друг, пусть даже не чувствует ее любви, как воздуха, которым дышит, – ей ведь и не нужно награды иной, кроме сознания, что без нее не мог был он прожить ни дня, что она его сделала тем, что он есть. И “неусыпная нянька” лелеет, балует, баюкает, окружает своими заботами и ласками, как невидимыми, мягкими и крепкими сетями – “слабую паутину”, – этого вечно-непокорного и беспомощного семидесятилетнего ребенка.

Но, может быть, все-таки тайный червь грызет ему сердце? Может быть, преследует и мучает его сознание, что не исполнил он заповеди Христа, и пока тело его наслаждается, душа скорбит смертельно? Не замечает ли и гр. Софья Андреевна в том самом письме, где говорит о совершившемся в нем христианском перевороте – что он “поседел, ослаб здоровьем и стал тише, унылее, чем был”. Берс также уверяет, будто бы, приехав к нему после нескольких лет разлуки, сразу почувствовал, “что веселое и оживляющее других расположение духа, которое постоянно жило во Льве Николаевиче, теперь совсем исчезло”. “Ласковый, а вместе с тем и серьезный тон его встречи как будто давал мне понять, что радость моя велика теперь, но истинные радости вовсе не эти”.

Вникая, однако, в жизнь Л. Толстого, нельзя не прийти к выводу, что этому “унынию” не должно придавать особенного значения. Едва ли не было оно в связи с временным нездоровьем, одним из тех, свойственных ему, периодически повторяющихся колебаний, отливов и приливов телесной бодрости, которые соответствуют таким же периодически совершающимся в нем духовным переворотам. По крайней мере, Берс сообщает, что уже и в день его приезда Лев Николаевич не выдержал своего “серьезного тона”, своей новой, как бы монашеской, тихости: “наверно угадывая мою грусть по поводу произведенного им на меня впечатлениям, он, к удовольствию всех нас, пошутил со мною, внезапно вскочив мне на спину, когда я ходил по зале”. И по этой шалости, которой, действительно, трудно было ожидать от человека, одним своим видом желавшего показать, что “истинные радости совсем не эти”, – посетитель тотчас же узнал в нем прежнего Льва Николаевича.

Нет, радость жизни не иссякла в нем и донныне; и может быть, даже именно теперь, в старости, неисчерпаемый родник этой вечно-детской радости кипит и бьет в нем с еще большею силою, чем в юности.

“Нельзя передать с достаточной полнотой того веселого и привлекательного настроения, которое царит в Ясной Поляне, – рассказывает очевидец, – и которого источник всегда Лев Николаевич. Вспоминаю игру в крокет. В ней участвовали все – и взрослые и дети. Она начиналась обыкновенно после обеда и кончалась со свечами. Игру эту я и теперь готов считать азартною, потому что я играл в нее с Львом Николаевичем. Дети особенно дорожат его обществом, напереерыв желают играть с ним в одной партии; радуются, когда он затеет для них какое-нибудь упражнение. Со мною он косил, веял, делал гимнастику, бегал наперегонки, играл в чехарду и городки”¹⁹. Это было несколько лет тому назад. Но Сергеенко, который рассказывает о жизни его за последние годы, сообщает, что он и теперь по-прежнему играет целыми днями в лаун-теннис и “бегает с мальчишками взапуски”. Вечный праздник, как бы новый золотой век. “В доме у Толстых, – говорит Сергеенко, – всегда получается такое впечатление, как будто у них назначен любительский спектакль, и целый цветник молодежи готовится к этому событию, наполняя весь дом шумным оживлением, в котором иногда принимает деятельное участие и Лев Николаевич. Особенно, если возникает какая-нибудь забава, требующая движения, выносливости, проворства, тогда Л.Н. поминутно будет поглядывать на играющих и участвовать душою в их удачах и неудачах; часто он и сам не выдерживает и вмешивается в игру, обнаруживая при этом еще столько молодого жара и мускульной гибкости, что часто даже завидно делается, когда глядишь на него”. Да, вечный праздник, вечная игра – то в поле за сохою, то на лаун-теннисе, то на лугу с косцами, то за расчисткою снега для конькобежного катка, то за постройкою печки для бедной бабы. И напрасно Софья Андреевна тревожится сомнениями, могут ли быть Льву Николаевичу в его годы полезными тридцативерстные прогулки на велосипеде. Что бы ни говорили врачи, он чувствует, что это постоянное, как будто даже чрезмерное, напряжение мышц и мускулов, эта вечная гимнастика или игра, которая еще забавнее и приятнее, когда называется “работою”, – необходимы для его здоровья, для его жизни.

“Она укрепляет меня, – признается он сам, – дает мне крепкий сон, бодрое настроение и делает меня похожим на рабочую травяную лошадь. Дайте ей только отдохнуть, да накормите ее, и она опять годна для работы”²⁰.

Берс рассказывает об одной игре, изобретенной Львом Николаевичем, которая возбуждала в детях особенно резвый и шумный восторг. Эта игра, под названием “Нумидийская конница”, заключалась в том, что “Лев Николаевич совершенно внезапно вскакивал с места и, подняв одну руку вверх и предоставив свободу этой кисти, слегка пробежал по комнатам. Все дети, а иногда и взрослые, следовали его примеру с такой же внезапностью”. В этом старике, который, как маленький мальчик, с внезапной резвостью бегаем по комнатам и даже взрослых увлекает в игру, я узнаю того, кто говорит о себе с младенчески-ясною улыбкой: “я человек веселый, я всех люблю, – я дядя Ерощка!”

Изображая первые, как сны, волшебные и темные воспоминания самого далекого детства, когда ему было года три-четыре, описывает он одно из наиболее счастливых и сильных впечатлений своих – купание в корыте: “Я в первый раз заме-

тил и *полюбил свое тельце* с видными мне ребрами на груди и гладкое темное корыто, засученные руки няни и теплую, парную, страшную воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда водил по ним ручонками”²¹. Можно сказать, что с того мгновения, как трехлетним ребенком впервые заметил он и *полюбил* свое маленькое голое тело, он так и не переставал любить и жалеть его всю жизнь. Глубочайшая стихийная основа всех его чувств и мыслей – именно это первое, чистое, беспримесное ощущение плотской жизни – любовь к плоти. Это чувство выразил он, описывая радостное сознание животной жизни, которое однажды овладело Вронским перед свиданием с Анной Карениной. «Чувство это было так сильно, что он невольно улыбался. Он спустил ноги, заложил одну на колено другой и, взяв ее в руку, ощущал упругую икру ноги, зашибленной вчера при падении, и, откинувшись назад, вздохнул несколько раз всю грудью: “хорошо, очень хорошо!” – сказал он сам себе. Он и прежде часто испытывал радостное сознание своего тела, но никогда он так не любил себя, своего тела».

Кажется ни в ком эта чистая животная радость плотской жизни, знакомая древним, теперь сохранившаяся только у детей, не выражалась с такой откровенною, первобытною и невинно-бесстыдною обнаженностью, как во Л. Толстом. И с годами она не только не уменьшается, но даже увеличивается, как бы отстаивается, очищается от всяких посторонних примесей. Как вино, она в нем – “чем старе, тем сильнее”²². Весна его жизни кажется мрачной и бурной по сравнению с этой золотой лучезарно-тихою осенью. Как выразился один итальянский дипломат XVI века о другом великом жизнелюбце и эпикурейце – папе Александре Борджиа, – Лев Николаевич “к старости молодеет”²³. Думая о смерти, как будто готовится только к земному бессмертию:

И ежели жизнью земною
Творец ограничил летучий наш век,
И нас за могильной доскою,
За миром явлений не ждет ничего, –
Творца оправдает могила его²⁴.

“Кто не был в этом небольшом деревянном доме, выкрашенном темною охрою? – умиляется Сергеенко, – ученые и писатели, художники и артисты, государственные и финансовые деятели, губернаторы, сектанты, земцы, сенаторы, студенты, военные, фабричные, рабочие, крестьяне, корреспонденты всех цветов и наций и проч., и проч. Не проходит дня зимою, чтобы в Долго-Хамовническом переулке не появилось какое-нибудь новое лицо, ищущее свидания с знаменитым русским писателем. – Кто не обращается к нему с приветствием, с сочувствием, с мучительными запросами и обвинениями? Русская и французская молодежь, американцы, голландцы, поляки, англичане, баронесса Берта Сутнер и набожный брамин из Индии, умирающий Тургенев и мечущийся, как раненый зверь, разбойник Чуркин”²⁵.

“Радостно узнавать, – сказал однажды Лев Николаевич, – про влияние на других людей, потому что только тогда убеждаешься, что огонь, который в тебе – настоящий, если зажигает”.

Эти слова напоминают его же признание другому собеседнику несколько лет назад:

“Я не заслужил генерала от артиллерии, зато сделался генералом от литературы”.

Теперь он мог бы сказать, что заслужил генерала не только от литературы, но и от новой, грядущей в мир, социально-демократической религии. И второе повышение выгоднее первого.

Так сумел он соединить утонченнейшую роскошь и негу плоти с последнею роскошью и сладострастием духа – славою.

Где же, однако, заповедь Христа об отречении от собственности, о совершенном смирении и совершенной бедности, как единственном пути в Царствие Божие? Где этот соединяющий путь, как бы мост, перекинутый над пропастью, которую вырыли между нашею верою и верою русского народа преобразования Петра? Где великий писатель земли русской в образе великого подвижника? И что случилось, увы, с нашей надеждою на возможность чуда в истории русской культуры, – того, что этот не только плотскими, но и духовными сокровищами богатейший из людей будет, действительно, в поте лица своего зарабатывать хлеб свой или, как дядя Влас, “в армяке, с открытым воротом, с обнаженной головой”, протягивать руку за милостыней на построение еще неведомого русского и всемирного храма? До этого веселого “охотника”, старого язычника, дяди Ерошки, до этого обновленного барина-эпикурейца, роскошного в самом воздержании и простоте, какое дело – не американским квакерам, не “корреспондентам всех цветов и наций”, не баронессе Берте Сутнер и Полю Дерулэду²⁶, не губернаторам, студентам, сенаторам, государственным и финансовым деятелям и проч., и проч. – а тому, у кого не только на словах –

Сила вся души великая
В дело Божие ушла²⁷,

тому, кто не только на словах “роздал имение”

Сам остался бос и гол²⁸,

кто и донныне скитается по следам “Царя небесного, в рабском виде обошедшего родную землю”?

Полон скорбью неутешною,
Смуглолиц, высок и прям,
Ходит он стопой неспешною
По селеньям, городам.

.....
Ходит с образом и с книгою,
Сам с собой все говорит
И железною веригою
Тихо на ходу звенит²⁹.

Удивительно, с каким единодушным сочувствием все жизнеописатели не радуются на уютность, теплоту и довольство свитого Львом Николаевичем и Софьей Андреевной семейного гнезда. Хотя бы у кого-нибудь из них промелькнула мысль о противоречии между словом и делом того, кто обличает в противоречиях всю человеческую культуру. Но им, по-видимому, и в голову не приходит, что об этом надо говорить поосторожнее, позастенчивее, что это прослав-

яемое ими довольство и барская, даже как бы несколько мещанская, сытость благопристойной и добродетельной семьи” может произвести впечатление неожиданное на тех, кому случится вспомнить следующие слова:

“Одна степенно ведомая в пределах приличия, роскошная жизнь благопристойной, так называемой добродетельной, семьи, проедающей, однако, на себя только рабочих дней, сколько достаточно бы на прокормление тысяч людей, в пицете живущих рядом с этой семьей, – более развращает людей, чем тысячи неистовых оргий грубых купцов, офицеров, рабочих, предающихся пьянству и разврату, разбивающих для потехи зеркала, посуду и т.п.”³⁰.

Не собственную ли степенно ведомую и роскошную жизнь в Ясной Поляне разумел Лев Николаевич в этих словах своих? И не должно ли заключить из них, что он чувствует себя в своем доме, как в разбойничьем вертепе? Или это только страшные слова – не более?

Один из наивных писателей толстовской легенды, сообщив, что граф, хотя и не роздал имения, но перестал им пользоваться, “не считая того, что остался под кровлей яснополянского дома”, прибавляет, как будто для того, чтобы заглушить уже всякие возможные сомнения и тревоги в совести читателя: “они (супруги Толстые) ежегодно раздают от двух до трех тысяч рублей бедным”³¹. По математическому расчету, который в 80-х годах произвел такое действие на совесть Льва Николаевича, эти две–три тысячи равнялись бы пятнадцать лет над двум–трем копейкам плотника Семена, а в настоящее время – одной копейке или даже полушке, ибо состояние Льва Николаевича именно за последние годы начительно выросло и не перестанет расти, благодаря деловитости графини Софьи Андреевны, которая, “по совету одной подруги, – как сообщает Анна Лейрон, – начала извлекать сама выгоды из сочинений графа”. «Дела у нее идут как, хорошо, что прежние издатели из зависти стараются ей мешать, но она энергично ведет с ними борьбу. Положение графа при этом выходит странным. Это убеждение говорит ему, что деньги – вред и кладут начало всякой порче. Кто дает деньги – тот дает зло»³². Теперь же вдруг открылся новый источник золота, в собственных изданиях. Сначала он не хотел слушать, когда заводилась речь о деньгах и книгах; лицо его принимало выражение смущения и страдания. Но графиня твердо стояла на своем, чтобы обеспечить будущность детей. Положение вещей, как оно было раньше, не могло продолжаться с увеличением семьи и при возрастающих расходах».

Тогда-то именно Лев Николаевич “постарался закрыть глаза” и “весь ушел в исполнение своей программы жизни”, своих “четырех упряжек”³³. Но чем немолимее разоблачал он противоречия современного буржуазного общества, тем искреннее проповедывал исполнение заповеди Христа – отречение от собственности, тем лучше расходились издания Софьи Андреевны, тем больший доход она получала с них. И то, что, казалось, грозило – на самом деле только способствовало имущественному благополучию семьи.

Однажды “отец Льва Николаевича, – рассказывает Сергеенко, – будучи в 813 году, после блокады города Эрфурта, послан с депешами в Петербург, на обратном пути, при местечке Сент-Оби, был взят в плен вместе со своим крепостным денщиком. Последний незаметно спрятал в сапог все золото своего бабина и в течение нескольких месяцев, пока они были в плену, ни разу не разувал-

ся. Он натер себе ногу и нажил рану, но все время и виду не показывал, что ему больно. Зато, по приезде в Париж, граф Николай Ильич мог жить, ни в чем не нуждаясь, и сохранил о преданном денщике навсегда доброе воспоминание”.

На преданности таких “людей”, как этот денщик, зиждется все патриархальное счастье, вся “степенно-ведомая жизнь так называемой добродетельной семьи”, как на гранитном основании. Помнит ли об этом случае столетняя яснополянская ключница Агафья? По крайней мере о том, как старый барин Николай Ильич Толстой, Николай Ильич Ростов, “сжимая свой сангвинический кулак”, говорил: “крестьян нужно держать вот как!”³⁴ – она уж, конечно, помнит. Это та самая Агафья, которая, рассказывая о детстве Льва Николаевича, утверждает, что он был “хорошим ребенком, только слабохарактерным”; когда же слышит об его новых причудах, только усмехается странною усмешкою³⁵. Еще более хитрую, тонкую усмешку видел я на лице Василия Сютаева, тверского крестьянина, тоже проповедника евангельской бедности³⁶, одного из умнейших русских людей, с которым случилось мне однажды беседовать о Л. Толстом, немного времени спустя после того, как Лев Николаевич побывал у него. И вот теперь мне все кажется, что нечто подобное этой усмешке должно иногда мелькать и в лице давно уже примиренной, “свыкшейся с учением мужа”, графини Софьи Андреевны.

Да, деды и прадеды, бабушки и прабабушки, которых старинные портреты смотрят со стен веселых яснополянских покоев, с выражением заботы в глазах, свойственной глазам предков – “только бы дома было все благополучно!” – могут быть спокойны: дома все благополучно, все по-старому: как было при них, так есть и будет. Знаменитые “четыре упряжки” оказались не такими страшными, как можно было думать сначала. Пока Лев Николаевич отдыхает от велосипедной прогулки или от крестьянской работы в поле, от игры в лаун-теннис или кладки печки для бедной бабы, графиня Софья Андреевна всю ночь не спит за корректурами для нового издания, “нового источника золота”, часть которого недаром сохранил для барина в сапоге своем верный денщик.

И лица предков благосклонно улыбаются в потускневших рамах.

Однажды «при мне приехал к Льву Николаевичу больной и погоревший мужик, – рассказывает Берс, – просит у него леса для сарая. Он пригласил меня, мы взяли топоры и вдвоем мигом срубили в яснополянском лесу несколько деревьев, обрубил сучья и увязали бревна на тележном ходу мужика. Я должен сознаться, что делал это с увлечением. Я испытывал неизведанное еще чувство радости, может быть, вследствие влияния Льва Николаевича, а может быть, и только оттого, что делал это для несчастного, то есть в самом деле больного, измученного и неимущего человека. Мужик стоял в то время поодаль с покорным видом. Лев Николаевич, конечно, замечая мою радость, нарочно уступал мне работу, и я срубил почти все деревья, – как будто этим он хотел открыть мне новые ощущения. Когда мы отправили мужика, он, Лев Николаевич, сказал:

“Разве можно сомневаться в необходимости и в удовольствии такой помощи?”»

В самом деле, можно ли в этом сомневаться? Почему, однако, все-таки кажется, что мужик стоял не только с покорным, но и с унылым видом в то время, как господа наслаждались своим добрым делом? Чего ему еще нужно было? На что он рассчитывал? Уж не на обыкновенную ли милостыню деньгами? Но

ведь Лев Николаевич при себе денег не носит. Или больному просто было холодно, скучно и томно ждать окончания барской работы? Кто, впрочем, угадает, какие насмешливые и неблагодарные мысли проходят в уме мужика, когда ему помогают господа с особенным удовольствием, – ибо люди вообще, а яснополянские мужики в особенности, по природе своей насмешливы и неблагодарны.

“Большинство мужиков, – признается сам Лев Николаевич, – смотрит на меня, как на рог изобилия, и только. Да и можно ли требовать от них иных отношений? Ведь жизнь их и взгляды слагались веками под влиянием множества неотразимых условий. И разве может один человек изменить все это?”

Это, однако же, и есть именно то самое, что возражала ему графиня Софья Андреевна по поводу раздачи имения. “Я не могу пустить детей по-миру, когда никто не хочет исполнять того же!” В чем же, собственно, Лев Николаевич с нею расходится? Это и есть главный, как будто неопровержимый довод “князя мира сего”, великого Логика, который убаюкивает нас в нашей языческой мерзости, и вследствие которого христианство, вот уже скоро двадцать веков, все никак нигде “не удается”: если не может один человек изменить все это, то пусть все и останется по-прежнему. Это и есть та серединная пошлость, на которой стоит мир, по крайней мере, наш демократический – мещанский мир, и которая делает для него “слабую паутину собственности” железной цепью. Это и есть то, что придает всем нашим христианским чувствам благородную, безопасную “теплоту”, о которой сказано в Апокалипсисе ангелу Лаодикийской церкви: “о, если б ты был холоден или горяч, но поелику ты тепл, изблую тебя из уст моих”³⁷.

“Я дал вам, что мог, и больше не могу”, – говорит Лев Николаевич “с страдальческой ноткой” обступившим его просителям.

“Мы направляемся через сад. Но нам перерезывает путь мужичонка с золотушным мальчиком. Лев Николаевич останавливается.

– Что тебе?

Мужик толкает вперед мальчика. Мальчик мнетса и, смущаясь и растягивая слова, обращается к Льву Николаевичу:

– Да-ай... жере-бе-ночка...

Мне делается неловко, и я не знаю куда глядеть.

Лев Николаевич пожимает плечами.

– Какого жеребеночка? Что за глупость! У меня нет никакого жеребеночка.

– Нет есть, – заявляет мужичонка и с быстротою выдвигается вперед.

– Ну, я ничего этого не знаю. Иди с Богом! – говорит Лев Николаевич и, сделав несколько шагов, легко перепрыгивает через канаву”³⁸.

Но совершенно ли он уверен в том, что у него действительно нет никакого жеребеночка?

В “Детстве и Отрочестве” Л. Толстой рассказывает, как однажды, забыв сказать об одном грехе духовнику на исповеди, поехал он к нему снова исповедоваться. Возвращаясь домой из монастыря на извозчике, почувствовал он радостное умиление и некоторую гордость от сознания своего доброго поступка. И ему захотелось поговорить с кем-нибудь, поделиться этим чувством. Но так как под рукой никого не было, кроме извозчика, он обратился к нему, рассказал ему все и описал все свои прекрасные чувства.

“Так-с, – сказал извозчик недоверчиво.

И долго после этого он молчал и сидел неподвижно. Я уже думал, что он думает про меня то же, что духовник, то есть, что такого прекрасного молодого человека, как я, другого нет на свете; но вдруг он обратился ко мне:

– А что, барин, ваше дело господское?

– Что? – спросил я.

– Дело-то, дело господское? – повторил он, шамкая беззубыми губами.

Нет, он меня не понял, – подумал я, но уже больше не говорил с ним до самого дома”.

И Льву Николаевичу стало стыдно.

“Я даже теперь, – прибавляет он, – краснею при этом воспоминании”.

Мне кажется, что больной крестьянин, который с горьким и унылым видом смотрел, как добрые господа собственными руками рубят для него деревья, и тот нелепый мужичонка, который требовал от Льва Николаевича несуществующего жеребеночка, мог бы сказать ему точно так же, как извозчик:

“А что, барин, дело-то, дело ваше господское?”

Так вот как он исполнил заповедь Христа, как разрушил слабую паутину собственности: “Ну, я этого ничего не знаю. Иди с Богом”.

Один из очевидцев уверяет, будто бы Лев Николаевич, что бы ни делал, “никогда не бывает смешон”³⁹. Хотелось бы этому верить. Но я все-таки боюсь, что в ту минуту, когда, убегая от нелепого мужичонки, с удивительной для семидесятилетнего старика быстротой и легкостью перепрыгивал Лев Николаевич через канаву, – он был несколько смешон. О, я слишком чувствую, что тут не одно смешное, но и жалкое, и страшное для него и для всех нас. И как почти всегда это бывает в современной жизни – чем смешнее, тем страшнее.

Не страшно ли, в самом деле, то, что и этот человек, который так бесконечно жаждал правды, так неумолимо обличал себя и других, как никто никогда, что и он допустил в свою совесть такую вопиющую ложь, такое безобразное противоречие? Самый маленький, и в то же время самый сильный из дьяволов, современный дьявол собственности, мещанского довольства, серединной пошлости, так называемой “душевной теплоты”, не одержал ли в нем своей последней и величайшей победы?

Если бы толстовская легенда сложилась в сумерках средних веков, можно бы подумать, что в образе нелепого мужичонки, который требовал невозможного жеребенка, воплотился этот дьявол. И когда Лев Николаевич убегал от него, все равно, со стыдом ли, с ужасом или с невозмутимой беспечностью – как, должно быть, Искуситель торжествовал, как смеялся, повторяя одну из своих любимых, страшных шуток:

“А разве ты не знал, что я ведь тоже Логик?”⁴⁰

ПЯТАЯ ГЛАВА

“Ты царь – живи один”¹, – говорил себе Пушкин; но, несмотря на великое внутреннее одиночество, он более, чем кто-либо, всю жизнь окружен был “друзьями”. Удивительна в нем эта способность быстрой и как будто даже опрометчивой дружбы, простого и легкого общения с людьми, равно с великими и

малыми, с Гоголем и Ариной Родионовной, с императором Николаем, Баратынским, Дельвигом, Языковым и Бог весть еще с кем, чуть ли не с первым встречным.

Нет, ты не проклял нас!.. Ты любишь с высоты
Скрываться в тень долины малой,
Ты любишь гром небес и также внемлешь ты
Журчанью пчел над розой алой².

В нем столько естественного, бессознательно-христианского прощения, снисхождения к малым. И ни тени зависти, корысти или злобы – к великим. С какою беспечностью отдает он сердце свое, с какою царственною щедростью, даже расточительностью. Он кажется всем человеком, как все, “добрым малым” Пушкиным. И почти никто из “друзей” не подозревает страшного величия его, безнадежного одиночества. Оно обнаружилось вдруг только перед самою смертью, когда он мог сказать себе с тихой последнею горечью: “ты царь – умри один!”

И Гете, еще более одинокий, чем Пушкин, умел “скрываться в тень долины малой” со своих ледяных безмолвных вершин, где обитают ужасные *Матери*³, – для дружбы с пламенным и столь земным, несмотря на свою “небесность”, Шиллером.

В жизни Л. Толстого поражает особое одиночество, не то, которое свойственно гениям, а иное, земное, житейское, человеческое. Он приобрел себе почти все, что может человек приобрести на земле, – кроме друга. Его отношения к Фету нельзя назвать дружбою: он смотрит на него слишком свысока. Да и мог ли Фет быть другом Толстому? Это скорее приятельство двух барских, помещичьих семей – не более. Всю жизнь окружают его только родственники, поклонники, наблюдатели или наблюдаемые и, наконец, ученики – последние, кажется, дальше всех от него. И с годами увеличивается в нем эта слишком благоразумная, расчетливая замкнутость, бережливость сердца, совершенная неспособность к дружбе. Один только раз судьба, как бы желая испытать его, послала ему достойного великого друга. И он сам оттолкнул его или не сумел приблизить. Я разумею Тургенева.

Их отношения – одна из труднейших и любопытнейших психологических загадок в истории русской литературы. Какая-то таинственная сила влекла их друг к другу, но, когда они сходились до известной близости, – отталкивала, для того, чтобы потом снова притягивать. Они были неприятны, почти невыносимы и вместе с тем единственно-близки, нужны друг другу. И никогда не могли они ни сойтись, ни разойтись окончательно.

Тургенев первый понял и приветствовал в Толстом великого русского писателя: “Когда это молодое вино перебродит, выйдет напиток, достойный богов”, – еще в 1856 году писал он Дружинину⁴. А через двадцать слишком лет – Фету: “Имя Л. Толстого начинает приобретать европейскую знаменитость; мы, русские, давно знаем, что у него нет соперников”⁵.

“Мнение человека, – признается Л. Толстой, – которого я не люблю, и тем более, чем более вырастаю, – мне дорого – Тургенева”⁶.

“В отдалении, хотя это звучит довольно странно, – пишет он самому Тургеневу, – сердце мое к вам лежит, как к брату. Одним словом, я вас люблю, это несомненно”⁷.

Григорович рассказывает о вечерах “Современника” на квартире Некрасова в 50-х годах. “Толстой лежит в средней проходной комнате на сафьяновом диване и дуется, а Тургенев, раздвинув полы своего короткого пиджака, с заложенными в карманы руками, продолжает ходить взад и вперед по всем трем комнатам”. В предупреждение катастрофы, Григорович подходит к Толстому.

– Голубчик, Толстой, не волнуйтесь. Вы знаете, как он вас ценит и любит.

– Я не позволю ему ничего делать мне назло, – говорит Толстой с раздувающимися ноздрями. – Это вот он нарочно теперь ходит взад и вперед мимо меня и виляет своими демократическими ляжками!..”⁸

Наконец “катастрофа”, которой недаром боялся Григорович, разразилась в Степановке, имении Фета, в 1861 году – ссора из-за пустяков, которая, однако, едва не довела их до поединка. Тургенев был виноват. Он погорячился, сказал лишнее. Толстой был прав – как во всех своих житейских отношениях, безукоризнен и, несмотря на кажущийся внешний пыл, внутренне холоден, замкнут и сдержан. А между тем, как это ни странно, виноватый Тургенев производит менее тягостное впечатление в этой ссоре, чем правый Толстой. Тургенев тотчас опомнился и как мужественно, как просто и великодушно извинился. Толстой принял или только хотел принять его извинение за трусость⁹.

“Я этого человека презираю”, – писал он Фету¹⁰, зная, что слова его будут переданы врагу.

“Я чувствовал, – признавался Тургенев, – что он меня ненавидит, и не понимал, почему он постоянно ко мне обращается. Я должен был по-прежнему держаться от него в стороне; я же попробовал приблизиться к нему, и это чуть не привело нас к дуэли. Я никогда не любил его. И как я не понял всего этого раньше!”¹¹

Казалось бы, все между ними кончено бесповоротно. Но вот, через семнадцать лет, Толстой делает снова первый шаг к Тургеневу, снова к нему “обращается” и предлагает ему помириться. Тургенев тотчас отвечает с радостною готовностью, как будто сам только и хотел и ждал этого примирения, встречает его, как после долгой невольной разлуки самого близкого родного человека¹².

И последняя мысль умирающего Тургенева обращена к “другу”, к Толстому:

“Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар ваш оттуда, откуда все другое. Ах, как бы я был счастлив, если б мог подумать, что просьба моя так на вас подействует... Друг мой, великий писатель земли русской, внемлите моей просьбе!”¹³

В этих словах есть недоговоренный страх за Толстого, безмолвное недоверие к его христианскому перерождению. Толстой ничего не ответил, по крайней мере, пред лицом русского народа, как обратился к нему Тургенев, – не ответил ему. И как знать, не уязвило ли его это письмо, исполненное той бесконечной силы правды, которую люди говорят только на краю гроба, большее, чем какое-либо из их прежних столкновений? Не повторил ли он в тайне сердца своего, с пробудившеюся снова неодолимою ненавистью, с напрасным желанием презрения: я этого человека презираю. Как всегда в тех именно случаях, когда, казалось бы, следует ожидать от него самого великого, правдивого, всерешающего слова, он замолчал и пропустил мимо ушей эту последнюю мольбу умирающего друга и врага своего, как недостойную ответа.

Однажды Тургенев сказал, может быть, самое глубокое и проникновенное слово, которое когда-либо говорилось о Л. Толстом: главный недостаток его заключается в отсутствии *духовной свободы*¹⁴.

О Левине, который, как это было Тургеневу ясно, есть двойник самого Льва Толстого, он писал одному приятелю:

«Разве мог бы ты хоть на секунду допустить... *что Левин вообще способен кого-нибудь любить?* Нет, любовь – это одна из тех страстей, которые уничтожают наше “я”... Левин же, узнав, что он любим и счастлив, не перестает заниматься своим собственным “я”, не перестает ухаживать за самим собою... Левин эгоист до мозга костей»¹⁵.

“– У вас есть удивительное, редкое качество – откровенность, – замечает Бехлюдов Иртеньеву.

– Да, – соглашается Иртеньев не без тайного самодовольства, – я всегда горю именно те вещи, в которых мне стыдно признаться”.

Странное, однако, впечатление производит “откровенность” Толстого, если публичнее вникнуть в нее: начинает казаться, что эту откровенностью он еще больше скрывает последнюю глубину и тайну свою, так что, чем откровеннее он, тем скрытнее. Всегда говорит именно те вещи, в которых стыдно ему признаться, кроме одной, главной, самой стыдной и страшной: о ней он ни с кем, даже с самим собою, никогда не говорит. Тургенев был единственный человек, которым он не мог, как со всеми, ни молчать, ни быть скрытно откровенным. Тургенев слишком знал, что такое Левин, слишком ясно видел, что никогда никого не может он полюбить, кроме себя, и что в этом – последний стыд, последний страх его, в которых признаться не имеет он силы. В чрезмерном ясновидении Тургенева заключается, может быть, главная причина той загадочной, то ритягивающей, то отталкивающей силы, которая так чудесно играла ими всю жизнь. Они были как два зеркала, поставленные друг против друга, отражающие, углубляющие друг друга до бесконечности; оба они боялись этой слишком прозрачной и темной бесконечности¹⁶.

Столь же замечательны отношения Л. Толстого к Достоевскому.

Они никогда не видались. Лев Николаевич в течение долгих лет собирался с ним познакомиться: “я его считал моим другом, и иначе не думал, как то, что мы видимся, и что теперь только не пришлось, но что это мое”¹⁷. Все собирался, но как и не собрался, не удосужился, и только после знаменитых похорон Достоевского, когда все сразу заговорили, закричали о нем, засуетились, как будто впервые открыли его, и Лев Николаевич, наконец, присоединился к общему хору, тогда заторопился навстречу всенародному признанию, вспомнил и о своей заочной, запоздалой любви и *вдруг* почувствовал, что это был “самый близкий, дорогой, нужный”¹⁸ ему человек. «Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся... я плакал и теперь плачу... На днях, до его смерти я прочел “Униженные и оскорбленные” и “умилялся”»¹⁹.

Удивительно, однако, как ему до конца не везло с Достоевским. Ну, почему бы, кажется, уж если “плакать и умиляться”, не выбрать чего-нибудь более задушевного, хотя бы “Преступление и наказание”, “Идиота”, “Братьев Карамазовых”? Почему остановился он именно на одном из немногих, посредственных, юношеских и устарелых, не имеющих будущности произведений Достоев-

ского, на “Униженных и оскорбленных”? Опять – досадная случайность, опять “не пришлось”, не удосужился?

Но вот, что еще более удивительно в этом “похоронном” письме:

“...Никогда мне в голову не приходило меряться с ним, никогда, – уверяет Л. Толстой. – Все, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал)”, – не предполагают ли, однако, эти скобки, что Достоевский делал не настоящее, не хорошее, о чем он, Лев Николаевич, здесь, над гробом, считает пристойным умолчать? – “все, что он делал, было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже. Но дело сердца – только радость”²⁰.

Что это? Как понять? Слишком ли он тут скрытен или слишком откровенен? Признается в зависти вообще, но отнюдь не в зависти к величайшему сопернику: в произведениях Достоевского, мол, только “дело сердца”, не более? Неужели, однако, не более? Неужели во всем Достоевском так-таки и нет ничего, кроме “дела сердца” – ни ума, ни искусства, которым бы иногда мог и Л. Толстой позавидовать? Или же в сравнении с “делом сердца” искусство и ум у Достоевского так не важны, так мелки, что о них и говорить не стоит? Но ведь от такой похвалы не поздоровится. А Лев Николаевич плакал, конечно, искренне плакал и умилялся над Достоевским... Не целый ли лабиринт в этих немногих словах? Попробуйте-ка, разберитесь в них. Снаружи как просто – как сложно внутри. Кажется, мысль его смотрит мне прямо в глаза, невинная голая, но только что я пытаюсь поймать ее, она, как оборотень, ускользает из рук моих, и нет ее, и я не знаю, что это было, – только холодно и жутко.

И в этом письме, как, впрочем, всегда, не обмолвился он ни словом о самом важном, любопытном, вызывающем на неизбежную последнюю откровенность – об отношении не только своим к Достоевскому, но и Достоевского к нему. А ведь именно Достоевский говорил и еще незадолго до смерти об учении Л. Толстого, о христианском перерождении его так прямо, так искренно, как никто никогда не говорил. Или опять “не пришлось”, не случилось Льву Николаевичу заглянуть в “Дневник писателя”, или он просто не полюбопытствовал? А ведь как бы не полюбопытствовать, кажется, не узнать, что думает о святом-святых его этот “самый близкий, нужный ему, дорогой человек”, эта внутренняя “опора” всей духовной жизни его? И о чем бы, кажется, и кому говорить, как не об этом, Льву Толстому с Достоевским, и особенно в такую торжественную минуту, когда он вдруг почувствовал, что опоздал к живому другу и что ему остается только плакать над мертвым?

Достоевский первый пророчески указал на будущее, в то время почти никому еще непонятное, да и доньше едва ли вполне понятное, *всемирное* значение художественных произведений Толстого. И так же ясно, как силу, видел он и слабость его. О Левине Достоевский говорит почти то же самое, что Тургенев: “Левин эгоист до мозга костей” – только другими словами. Он спрашивает себя: “Отчего произошло столь *мрачное обособление Левина и столь угрюмое отъединение в сторону?*”²¹ И возвращается не раз к этому вопросу, между прочим, размышляя и о так называемом “опрощении” Левина и Льва Толстого, об их попытках “вернуться к народу”. Достоевский сознавал, что он более, чем кто-либо из русских культурных людей, имеет право высказать свое мнение по этому по-

воду: «Я видел народ наш и знаю его, жил с ним довольно лет, ел с ним, спал с ним и сам “к злодеям причтен был”, работал с ним настоящей мозольной работой... Не говорите же мне, что я не знаю народа! Я его знаю»²².

Достоевский думал, что бездна, отделяющая таких людей, как Левин и Лев Толстой, от народа, гораздо глубже и неприступнее, чем они полагают. «Ничего нет ужаснее, как жить не в своей среде. Мужик, переселенный из Таганрога в Петропавловский порт, тотчас же найдет там такого же точно русского мужика, тотчас же сговорится и сладится с ним. Не то для “благородных”. Они разделены с простонародьем глубочайшею бездной, и это замечается *вполне* только тогда, когда *благородный* вдруг сам, силою внешних обстоятельств, действительно, на деле лишится прежних прав своих и обратится в простонародье. Не то хоть всю жизнь свою знайте с народом, хоть сорок лет сряду каждый день сходитесь с ним... по-дружески, в виде благодетеля или в некотором смысле отца, – никогда самой сущности не узнаете. Все будет только оптический обман и ничего больше. Я ведь знаю, что все, решительно все, читая мое замечание, скажут, что я преувеличиваю. Но я убежден, что оно верно... Может быть, впоследствии все узнают, до какой степени это справедливо»²³.

“...Надо делать только то, что велит сердце: велит отдать имение – отдайте, велит идти работать на всех – идите, но и тут не делайте так, как иные мечтатели, которые прямо берутся за тачку: дескать, я не барин, я хочу работать, как мужик. Тачка опять-таки мундир. – Не раздача имения обязательна и не одевание зипуна: все это лишь буква и формальность; обязательна и важна лишь *решимость ваша делать всё ради деятельной любви*, все, что возможно вам, что искренно признаете для себя возможным. Все же эти старания “опроститься” – лишь одно только переряживание, невежливое даже к народу и вас унижающее”²⁴.

“...Сомнения кончились, и Левин уверовал, – во что? Он еще этого строго не определил, но он уже верует. Но вера ли это? – Надобно полагать, что еще нет. Мало того: вряд ли у таких, как Левин, и может быть окончательная вера. Левин любит называть себя народом, но *это барич, московский барич средне-высшего круга*, историком которого и был по-преимуществу граф Л. Толстой. – Я хочу только сказать, что вот эти – как Левин, сколько бы ни прожили с народом или подле народа, но народом вполне не сделаются, мало того – во многих пунктах так и не поймут его никогда вовсе. Мало одного сомнения или акта воли, да еще столь причудливой, чтобы захотеть и стать народом. Пусть он помещик, и работающий помещик, и работы мужицкие знает, и сам косит, и телегу запречь умеет, – все-таки в душе его, как он ни старайся, останется оттенок чего-то, что можно, я думаю, назвать *праздношатайством*, тем самым праздношатайством физическим и духовным, которое, как он ни крепись, а все же досталось ему по наследству, и которое уж, во всяком случае, видит во всяком барине народ. – А веру свою он разрушит опять, разрушит сам, долго не продержится: выйдет какой-нибудь новый сучок и разом все рухнет. – Одним словом, эта чистая душа есть самая праздно-хаотическая душа, иначе он не был бы современным русским интеллигентным барином, да еще средне-высшего дворянского круга”²⁵.

Не знаменательно ли совпадение в отзыве о Левине и Льве Толстом двух столь своеобразных, чуждых друг другу и даже противоположных умов, как “за-

падник” Тургенев и “славянофил” Достоевский? “Никогда никого не любил, кроме себя самого” – “эгоист до мозга костей” – “московский барич средне-высшего круга” – “праздно-хаотическая душа” – “праздношатайство”. Неужели, однако, это последний приговор?

Кажется, Тургенев и Достоевский справедливы, но не до конца справедливы; в пылу слишком близкой и страстной борьбы не захотели или не сумели они высказать все, что, может быть, им самим уже смутно чужалось и в Левине, и во Льве Толстом, как искателях новой религии. Кажется, теперь для нас, более далеких и более спокойных, возможно и большее проникновение в эту все-таки единственно-великую человеческую душу, потому что для нас возможно большее милосердие. А ведь только последнее милосердие есть в то же время и последняя справедливость.

Ежели есть в жизни, в действиях Л. Толстого то, что я называю “эпикурейством” или “охотничеством” дядя Ерошки, что Достоевский, пожалуй, с чрезмерною резкостью, называл “праздношатайством московского барича”, то все-таки во внежизненном, творческом созерцании своем и в своей бессознательной стихии – он глубже эпикурейства. Все-таки первая основа души его так же, как у всех людей нашего времени, – бездонно-глубокая, трагическая. Стоит взглянуть на это лицо, до грубости сильное, лицо еще слепого подземного титана, чтобы почувствовать, что это не только “эпикуреец”, не только “барич средне-высшего дворянского круга” и что уж во всяком случае это не обыкновенный, безмятежный и беззастенчивый эпикуреец, как, например, наши русские бары XVIII века, что это – недаром в образе нищего Лазаря от самого себя скрывающийся богач, огорченный, испуганный и застыдившийся эпикуреец. Сквозь лучезарнейшую радость жизни, хотя и не в живом, не в явном, не в дневном, а в темном, закрытом, еще слепом, подземном и тайном лице его я узнаю Каинову печать нашего века, печать неисцелимой скорби и гордыни. И те, кого назвал Баратынский

Поэзии таинственных скорбей
Могучие и сумрачные дети²⁶,

могли бы иногда приветствовать в нем одного из своих –

Ты с нами пил из общей чаши,
Как мы, отравлен и велик.

Будущего он не достиг, но и к прошлому нет для него возврата. Он не доплыл до другого берега, не долетел до другого края бездны – он погибает, но его величие в гибели его.

Он никогда никого не любил, даже и себя не дерзнул любить последнюю бесстрастную и бесстрашную любовью. Но кто с большею мукою жаждал любви, чем он? Он никогда ни во что не верил. Но кто с большею неутолимостью жаждал веры, чем он? Это не все, но разве этого мало?

“Пускай, – говорит он в *Исповеди*, – пускай я, выпавший птенец, лежу на спине, пищу в высокой траве, но я пищу оттого, что знаю, что меня в себе выносила мать, высиживала, грела, кормила, любила. Где она, эта мать? Если забросили меня, то кто же забросил? Не могу я скрыть от себя, что, любя, родил меня кто-то. Кто же этот кто-то?”²⁷

Я не верю ему, когда он уверяет, будто бы нашел истину и навсегда успокоился, что теперь ему “все ясно стало”. И кажется, когда он это говорит, – он всего дальше от Бога и от истины. Но я не могу ему не поверить, когда он говорит о себе, как о жалком, выпавшем из гнезда, птенце. Да, как ни страшно, – а это так. И он, этот титан со всей своей силою – только жалкий птенец, который выпал из гнезда, лежит на спине и пищит в высокой траве, как я и вы, и все мы до единого. Нет, ничего не нашел он – никакой веры, никакого Бога. И все его оправдание – только в этой безнадежной мольбе, в этом пронзительно-жалобном крике беспредельного одиночества и ужаса. Да, и он, и все мы только смутно чувствуем, но еще не знаем, какие мы действительно жалкие, покинутые птенцы, лишённые нашей единственной всечеловеческой Матери-Церкви, – я разумею Церковь не прошлого и не настоящего, а грядущего Иерусалима, ту, которая всегда говорит людям: сколько раз хотела я собрать вас, как мать собирает птенцов под крылья свои, и вы не захотели.

Как близок он был к тому, чего искал! Кажется – еще один миг, одно усилие – и все открылось бы ему. Почему же не сделал он этого шага? Какая черта отделяла его от грани будущего? Какая бесконечная слабость в бесконечной силе его помешала ему разорвать последнюю завесу, уже прозрачную, тонкую, как “слабая паутина”, – и увидеть Свет?

И ныне, исполнил ли он все, что назначено ему было исполнить на земле? Закончил ли круг своего духовного развития? Остановился ли и окаменел или снова оживет и снова совершится в нем последнее, уже действительно последнее перерождение?

Кому предсказывать будущность такого человека? Но не кажется ли всем нам, что слова и дела его жизни для нас уже не любопытны, незначительны, что мы знаем заранее, что больше того, что сказал и сделал, – он уже не скажет и не сделает, и что он будет жить, как жил всегда. Но как он будет умирать?

Гете говорит: “благо тому, кто сумеет соединить конец своей жизни с началом ее”²⁸: это значит – соединить “змеиную мудрость” старости своей с “голубиной простотою” своего детства. Сумеет ли соединить их Л. Толстой? Произойдет ли в нем если не в жизни, то, по крайней мере, в смерти это последнее Воскресение, о котором я говорю? Спадёт ли с очей слепого титана последняя пелена, и прозреет ли он окончательно при “белом свете смерти”?

В первой книге его есть изображение весенней природы после грозы, какой она является глазам ребенка.

“...Я высовываюсь из брочки и жадно впиваю в себя освеженный душистый воздух... Все мокро и блестит на солнце, как покрытое лаком. С одной стороны дороги – необозримое озное поле, кое-где перерезанное неглубокими овражками, блестит мокрою землею и зеленью и расстилается тенистым ковром до самого горизонта; с другой стороны – осиновая роща, поросшая ореховым и черемухным подседом, как бы в избытке счастья, стоит – не шелохнется и медленно роняет со своих обмытых ветвей светлые капли дождя на сухие, прошлогодние листья. Со всех сторон вьются с веселою песнью и быстро падают хохлатые жаворонки; в мокрых кустах слышно хлопотливое движение маленьких птичек, и из середины рощи ясно долетают звуки кукушки. Так обаятелен этот чудный запах леса после весенней грозы, запах березы, фиалки, прелого листа, сморчков,

черемухи, что я не могу усидеть в бричке, соскакиваю с подножки, бегу к кустам и, несмотря на то, что меня осыпает дождевыми каплями, рву мокрые ветки распустившейся черемухи, бью себя ими по лицу и упиваюсь их чудным запахом. Не обращая даже внимания на то, что к сапогам моим липнут огромные комки грязи и чулки мои давно уже мокры, я, шлепая по грязи, бегу к окну кареты.

– Любочка! Катенька! – кричу я, подавая туда несколько веток черемухи, – посмотрите, как хорошо!

Девочки пищат, охают; Мими кричит, чтобы я ушел, а то меня непременно раздавят.

– Да ты понюхай, как пахнет! – кричу я²⁹.

Мелькнет ли в предсмертном бреду его это воспоминание детства? Почудится ли ему снова упоительный запах черемухи и свежее, как детский поцелуй, прикосновение мокрых веток к лицу? И почувствует ли он тогда, что в этой бесконечной радости земной и этой любви к земному, даже только к земному, было и начало неземного? Поймет ли он, что неодолимая, нечеловеческая, животная и вместе с тем божественная любовь его к плоти, с которой он всю жизнь так тщетно боролся, могла бы остаться такой же невинной, как в еще более далеком, незапамятном детстве, когда он, купаясь в корыте, в первый раз заметил и полюбил “свое маленькое голое тельце, с выступавшими ребрами”; и что эта любовь его к себе, к себе одному, была бы святою, если бы только он любил себя до конца, – а это значит, любил себя не для себя, а для Бога, так же ведь, как и других велел Господь любить не для них самих, а для Него? Поймет ли он, наконец, что тут нет высшего и низшего, что эти два противоположных и равноистинных пути, ведущих к одному и тому же; что это, в сущности, даже и не два пути, а один, только до времени кажущийся двумя, что не против и не от земли, а только через землю можно прийти к неземному, не против и не без плоти, а только через плоть – к тому, что за плотью? И нам ли бояться плоти – нам, детям того, Кто сказал: кровь Моя истинно есть питье, и плоть Моя истинно есть пища, – нам, чей Бог, чье “Слово стало плотью”³⁰

Как нужно и важно было бы для всех нас, чтобы и Л. Толстой, этот в настоящее время все-таки величайший, сильнейший из русских людей, увидел то, что мы уже видим и в жизни, и в смерти нашими едва прозревшими и светом ослепленными глазами – последний свет, последнее соединение – чтобы и он это увидел, если не в жизни, то хоть в смерти своей, чтобы он успел если не написать, то хоть сказать нам об *этом*, – о, мы ведь услышим и поймем слова его, сказанные даже в предсмертном бреду, как бы ни казались они другим неясными, ибо сказанное для нас уже важнее, нужнее написанного: говорится, что есть и будет, пишется лишь то, что было и чего уже нет; нашу последнюю истину еще нельзя написать – ее можно только сказать и совершить.

Но успеет ли он? Дай Бог ему и нам, чтоб он успел.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

В противоположность Л. Толстому, Достоевский не любит говорить о себе.

Этому, по-видимому, столь нескромному, даже как будто жестокому и циническому разоблачителю чужих сердец – в высшей степени свойственно относи-

тельно собственного сердца то целомудрие, которое Тютчев находит в северной природе, – то, как он выражается,

Что в существе разумном мы зовем
Возвышенной стыдливостью страданья¹.

“Никогда, – говорит Страхов, – не было заметно в нем – Достоевском – никакого огорчения или ожесточения от перенесенных им страданий, и никогда ни тени желания играть роль страдальца. – Федор Михайлович вел себя так, как будто в прошлом у него ничего особенного не было, не выставлял себя ни разочарованным, ни сохраняющим рану в душе, а, напротив, глядел весело и бодро, когда позволяло здоровье. Помню, как одна дама, в первый раз попавшая на редакционные вечера Михаила Михайловича (брата Достоевского)², с большим вниманием вглядывалась в Федора Михайловича и, наконец, сказала:

– Смотрю на вас и, кажется, вижу в вашем лице те страдания, какие вы перенесли.

Ему были видимо досадны эти слова.

– Какие страдания! – воскликнул он, и принялся шутить о совершенно посторонних предметах³.

Достоевский не умел возбуждать любопытства своей частною жизнью. Самообличений у него так же мало, как упреков. Только в последние годы в “Дневнике писателя” иногда обращался он к воспоминаниям детства; но и здесь не только ни на кого не жаловался, а, напротив, старался оправдать и облагородить в своем воображении ту среду, из которой вышел, как будто хотел убедить себя и других, что жизнь его была счастливее, чем на самом деле.

“Я был, может быть, одним из тех, которым наиболее облегчен был возврат к народному корню, к узанию русской души, к признанию духа народного. Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор, как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам читал нам отец. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным⁴.

Однажды в разговоре с братом, помянув своих покойных родителей, он воодушевился и горячо сказал:

– “Да знаешь ли, брат, ведь это были люди передовые, и в настоящую минуту они были бы передовыми!.. А уж такими семьянинами, такими отцами нам с тобою не быть, брат!”⁵

Трудно, однако, решить, насколько заслуживают доверия эти счастливые воспоминания Достоевского. По словам его брата, отец их “был чрезвычайно взыскателен и нетерпелив, а главное – очень вспыльчив”⁶. По другим известиям, это был “человек угрюмый, нервный, подозрительный”⁷. – “Мне жаль бедного отца, – пишет сам Достоевский в 1838 году, то есть, когда ему было 16 лет, – странный характер! Ах, сколько несчастий перенес он. Горько до слез, что нечем его утешить”⁸.

Судя по некоторым другим, столь же неясным намекам, в судьбе или в самой личности этого, действительно, кажется, “странного” человека было что-

то загадочное и трагическое; во всяком случае, весьма вероятно, что тяжелый нрав отца, его угрюмость, вспыльчивость и подозрительность имели влияние на Федора Михайловича глубокое, хотя, к сожалению, для исследования, по недостатку свидетельств, почти недоступное. Только один из жизнеописателей приподымает покров над этою семейною тайною, но тотчас и опускает; говоря о происхождении падучей болезни у Достоевского, замечает этот биограф очень сдержанно и глухо: “есть еще одно совершенно особое свидетельство о болезни Федора Михайловича, относящее ее к самой ранней его юности и связывающее ее с трагическим случаем в их семейной жизни. Но, хотя это и передано мне на словах очень близким к Ф.М. человеком, я ниоткуда более не встретил подтверждения этому слуху, а потому и не решаюсь подробно и точно его изложить”⁹.

Должно быть, случай этот в жизни “семейства русского и благочестивого”, как выражается сам Достоевский, был, действительно, страшный, если от него могла произойти у ребенка падучая и если жизнеописатель не решается сообщить этот слух, опираясь на свидетельство человека, даже “очень близкого к Федору Михайловичу”. И пусть это только “слух”, – нельзя ли заключить из трагического свойства легенды, что в “детстве и отрочестве” Достоевского не все было так светло и отраднo, как оно чудилось ему сквозь даль воспоминаний? Едва ли не свою собственную жизнь, по сравнению с жизнью Л. Толстого, разумел Достоевский, когда называл героя романа “Подросток” членом случайного семейства – “в противоположность еще недавним родовым нашим типам, имевшим столь отличные детство и отрочество”. Едва ли также не о себе, не о своем собственном детстве и отрочестве говорит он и этим еще более горьким словом того же героя: “сознание, что у меня, во мне, как бы я ни казался смешон и унижен, лежит то сокровище силы, которое заставит их всех когда-нибудь изменить обо мне мнение, это сознание уже с самых почти детских униженных лет моих составляло единственный источник жизни моей, мой свет и мое утешение – иначе я бы, может быть, убил себя еще ребенком”.

По сравнению с Л. Толстым, потомком со стороны матери великого князя св. Михаила Черниговского¹⁰, замученного в Орде, со стороны отца – Петра Андреевича Толстого¹¹, любимца Петра Великого, начальника Тайной канцелярии, поимщика царевича Алексея, – Достоевский, сын штаб-лекаря и купеческой дочки, родившийся в больнице для бедных, в Москве, на Божедомке, близ Марьиной Рощи, есть в самом деле член “случайного семейства”. Первое впечатление детства его была если не нужда, то крайняя стесненность. Отец, имевший пяти-рых человек детей, занимал квартиру, состоявшую собственно из двух комнат, кроме передней и кухни. Передняя была в одно окно, и задняя часть этой комнаты отделялась дощатой столярной перегородкой, образуя полутемный угол, служивший детскою для двух старших братьев – Михаила и Федора Михайловича. “Отец, – рассказывает один из братьев, Андрей Михайлович, – любил повторять, что он человек бедный, что дети его, в особенности мальчики, должны готовиться пробивать себе сами дорогу, что со смертью его они останутся нищими”¹². В 1838 году Достоевский писал из Инженерного Училища: “Милый, добрый родитель мой, неужели вы можете подумать, что сын ваш, прося от вас денежной помощи, просит у вас лишнего?”¹³

“Уважая вашу нужду, – заключил он, – не буду пить чаю”¹⁴. “Ты жалуешься на свою бедность, – сообщает он брату почти в то же время, – нечего сказать, и я не богат. Веришь ли, что я во время выступления из лагерей не имел ни копейки денег; заболел дорогою от простуды (дождь лил целый день, а мы были открыты) и от голода, и не имел ни гроша, чтобы смочить горло глотком чаю”¹⁵.

Так жизнь Достоевского начинается бедностью, которой не суждено прекратиться почти до смерти его и которая зависела не столько от внешних случайностей, сколько от внутренних свойств природы его. Есть люди, не умеющие тратить, – естественно, даже как бы помимо воли своей, predeterminedенные к накоплению; есть другие, не умеющие беречь, – столь же естественно предназначенные к расточительности.

По свидетельству брата, Федор Михайлович никогда не знал, “сколько у него чего” – денег, платья, белья. Доктор Ризенкампф, немец, по просьбе того же брата поселившийся с Достоевским в 1843 году в Петербурге и старавшийся приучить своего сожителя к немецкой аккуратности, “застал Федора Михайловича без копейки, кормящегося молоком и хлебом, да и то в долг из лавочки”¹⁶. – “Федор Михайлович, – говорит Ризенкампф, – принадлежал к тем личностям, около которых живет все хорошо, но которые сами постоянно нуждаются. Его обкрадывали немилосердно, но при своей доверчивости и доброте он не хотел вникать в дело и обличать прислугу и ее приживалок, пользовавшихся его беспечностью”¹⁷. – “Самое сожительство с доктором, – прибавляет жизнеописатель, – чуть было не обратилось для Федора Михайловича в постоянный источник новых расходов. Каждого бедняка, приходившего к доктору за советом, он готов был принять, как дорогого гостя”¹⁸.

Л. Толстой в статье своей о Переписи рассказывает, что в Ляпинском ночлежном доме искал он людей, достаточно нуждающихся, которые заслуживали бы денежной помощи и которым бы он мог раздать вверенные ему московскими богачами-благотворителями и оставшиеся у него на руках 37 рублей, – искал и не нашел. Можно сказать с уверенностью, что Достоевский не затруднился бы в подобном случае.

Вообще любопытно сравнить эту естественную щедрость Достоевского, склонность его бросать деньги на ветер, с такою же естественною, если не бережливостью, то, по крайней мере, несклонностью Л. Толстого быть расточительным. У того и у другого эти свойства – вне воли и вне сознания. Таким каждый из них родился – один собирателем, домостроителем, другой – расточителем, вечно бездомным скитальцем.

Достоевскому не нужно было доказывать себе, что деньги – зло, что следует отречься от собственности: он мучился бедностью и придавал деньгам, по крайней мере в своем сознании, большое значение; но только что они оказывались у него в руках, – обращался с ними так, как будто считал их даже не злом, а совершенным вздором. Он любил или воображал, что любит их, но они его не любили. Л. Толстой ненавидит или думает, что ненавидит их, но они любят его и сами идут к нему. Один, всю жизнь мечтая о богатстве, прожил и, по всей вероятности, если бы не деловитость жены, умер бы нищим. Другой, всю жизнь мечтая о бедности, не только не роздал, но и приумножил свое имение. Может быть,

все это – мелочь для таких людей; знаменательно, однако, что и в этой жизненной мелочи они так противоположны.

Не только, впрочем, относительно денег, но и всех прочих благ мирских в судьбе Л. Толстого есть как бы сила притягивающая, в судьбе Достоевского – сила отталкивающая. По-видимому, Достоевский отчасти сознавал присутствие в жизни своей этой роковой силы, накликающей бедствие, но вместе с тем имел склонность приписывать причину своих страданий себе самому, своей “порочности”. “У меня ужасный порок, – признается он брату, – неограниченное самолюбие и честолюбие”¹⁹. “Я тщеславен так, как будто с меня кожу содрали, и мне уже от одного воздуха больно”, – говорит герой “Записок из подполья”, многими чертами напоминаящий самого Достоевского. – “На днях Тургенев и Белинский разобрали меня за беспорядочную жизнь”²⁰. – “Я болен нервами и боюсь горячки или лихорадки нервической. Порядочно я жить не могу, до того я беспутен”²¹. Едва ли, впрочем, в подобных признаниях есть действительное раскаяние. Это скорее несколько грустные и удивленные самонаблюдения. “Черт знает, – замечает он, – давай мне хорошего, я непременно сам сделаю своим характером худшее”²². И в другой раз, много лет спустя, по поводу проигрыша на рулетке в Бадене: “*везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил*”²³. Вот чего, может быть, не простило Достоевскому провидение нашего века, столь боящегося “последних пределов”, вот за что оно мстило ему так насмешливо и так беспощадно. В этом отношении, так же как и во многих других, он человек в высшей степени несовременный и несвоевременный. Что касается Л. Толстого, то замечательно, что, несмотря на всю видимую страстность своих увлечений в области созерцательной, никогда в самой жизни, в действиях своих не доходил он “до последнего предела”, не “переступал черты”.

Достоевский начал с успеха. «Неужели вправду я так велик, стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге, – рассказывает он свои мысли по поводу впечатления, произведенного “Бедными людьми” на Некрасова и Григоровича. – О, я буду достойным этих похвал, – и какие люди, какие люди! Я заслужу, постараюсь стать таким же прекрасным, как и они – пребуду “верен”! О, как я легкомыслен, и если б Белинский только узнал, какие во мне есть дрянные, постыдные вещи»²⁴. Следующий роман “Двойник”²⁵ провалился. Друзья отвернулись от него, почуяв, что ошиблись, что приняли его за другого. Судьба, как будто нарочно, послала ему мгновенный успех, чтобы тем больнее сделать ряд следовавших ударов и поражений. С того времени вся литературная деятельность Достоевского была ожесточенной борьбой с так называемым “русским общественным мнением” и с критикой. И какой несоответственной, какой случайной кажется нам, начинающим понимать действительную меру заслуг его, та слава, которая выпала ему на долю незадолго перед смертью – особенно по сравнению с прижизненной славой Л. Толстого.

“Давай мне хорошего, я непременно сам сделаю своим характером худшее” – верность этого самонаблюдения, кажется, с особенной очевидностью оправдалась в деле Петрашевского, из-за которого Достоевский так жестоко поплатился²⁶.

Трудно себе представить, что именно заставило его вмешаться в это дело. Мечты социалистов были не только чужды, но и враждебны его природе. “Он

говорил, – замечает один из биографов, – что жизнь в Икарыйской коммуне или фаланстере представляется ему ужаснее и противнее всякой каторги”²⁷. Если сравнить тогдашнее его показание на суде с тем, что он впоследствии без всякого внешнего принуждения проповедывал, то едва ли возможно заподозрить искренность его утверждения, что “он не принадлежит ни к какой социальной системе, будучи уверен, что применение их не только к России, но даже к Франции поведет за собою неминуемую гибель”²⁸.

Главное, что уже и тогда отвращало его от социализма и вместе с тем заставляло так упорно вдумываться в попытку современного человечества устроиться на земле без Бога, без религии, – был нравственный материализм этого учения. По свидетельству очевидца, Петрашевский производил на Федора Михайловича отталкивающее впечатление тем, что был “безбожник и глумился над верою”²⁹. Точно так же легкомысленное отношение Белинского к религии пробудило в Достоевском ту неудержимую, ослепляющую ненависть, которая через многие годы разгоралась в нем каждый раз все с новою силою, когда вспоминал он о Белинском, об этом будто бы “самом смрадном, тупом и позорном явлении русской жизни” (письмо Н.Н. Страхову из Дрездена от 18–30 мая 1871 года). В “Дневнике” за 1873 год он очень зло и тонко передает как будто бы тоже насмешливый, на самом деле только в высшей степени простодушный, чтобы не сказать больше, рассказ Белинского об их философских беседах, в которых русский критик старался обратить будущего творца “Идиота” в безбожие: “Каждый-то раз, – говорит Белинский, – когда я вот так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет”. – “Да поверьте же, наивный вы человек, – набросился он опять на меня, – вспоминает Достоевский, – поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества”. – “Этот человек ругал мне Христа!” – вдруг не выдерживает Федор Михайлович через тридцать лет, как будто беседа происходила только накануне, и раздражается яростной бранью. – “Этот человек ругал мне Христа, и между тем никогда не был способен сам себя и всех двигателей всего мира сопоставить со Христом для сравнения. Он не мог заметить того, сколько в нем и в них мелкого самолюбия, злобы, нетерпения, раздражительности, подлости, а главное – самолюбия. Он не сказал себе никогда: что же мы поставим вместо Него? Неужели себя, тогда как мы так гадки? Нет, он никогда не задумался над тем, что он сам гадок; он был доволен собой в высшей степени, и это была уже личная смрадная, позорная тупость” (письмо к Н.Н. Страхову от 18 мая 1871 г., см. Полн. собр. соч. Достоевского, т. I, стр. 312, СПб., 1883).

Итак, если кто-либо когда-нибудь был невинен в социализме, по крайней мере в том социализме, за который преследовало тогдашнее русское правительство, – то это, конечно, Достоевский. Он сделался мучеником и едва не погиб за то, во что не только ни минуты не верил, но что ненавидел всеми силами души. Что же влекло его к этим людям? Не то же ли, что всю жизнь заставляло его искать самого трудного, бедственного, жестокого и страшного, как будто он чувствовал, что ему нужно “пострадать”, чтобы вырасти до полной меры сил своих? Или он переходил за черту, играя опасностью среди политических заговорщиков так

же, как играл он ею всегда и везде, как впоследствии – в карточной игре, в сладострастии, в мистических ужасах?

Восемь месяцев просидел он в Петропавловской крепости. Один из его товарищей по заключению стал сходиться с ума. Федор Михайлович прочел здесь два путешествия по св. местам и сочинения св. Дмитрия Ростовского³⁰. “Последние, – пишет он, – меня очень заняли”³¹. Он ожидал смертного приговора и, действительно, услышал его.

«Когда осужденных привезли на Семеновский плац и троих уже привязали к столбам, – рассказывает Спешнев, – Федор Михайлович, как ни был он потрясен, не потерялся. Он был бледен, но довольно быстро взошел на эшафот; скорее был тороплив, чем подавлен. Оставалось произнести: “пли!” – и все было бы кончено³². Тут махнули платком – и казнь была остановлена. Но когда Григорьева, того самого, который уже в крепости стал мешаться в уме, отвязали от столба, он был бледен как смерть. Умственные способности окончательно ему изменили»³³. По словам одного из приговоренных, “многим из них весть о помиловании вовсе не представилась радостною, а как будто даже обидною”³⁴, – как впоследствии выразился Достоевский, “безобразным и ненужным ругательством”³⁵.

Мгновения, проведенные Достоевским не с вероятием, а с уверенностью в ожидающей его через “пять минут” смерти, имели на всю его последующую духовную жизнь неизгладимое влияние: они как бы передвинули угол зрения его на весь мир: он что-то понял, чего не может понять человек, не испытавший этого ожидания верной смерти. Судьба послала ему некоторое великое познание, редкий опыт, как бы новое *измерение* всего существующего, которые не пропали даром, которыми впоследствии сумел он воспользоваться для поразительных открытий.

«Подумайте, – устами “Идиота” говорит Достоевский, – подумайте, если, например, пытка; при этом страдания и раны, муки телесные и, стало быть, все это от душевного страдания отвлекает, так что одними только ранами и мучаешься вплоть, пока умрешь. А ведь главная, самая сильная боль, может, не в ранах, а вот, что вот знаешь наверно, что вот через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас – душа из тела вылетит, и что человеком уже больше не будешь, и что это уж наверно; главное то, что *наверно*. Вот как голову кладешь под самый нож и слышишь, как скользнет над головой, вот эти-то четверть секунды всего и страшнее. Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали: “ступай, тебя прощают”. Вот этакий человек, может быть, мог бы рассказать. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил».

Каторгу принял он с покорностью. И сам не жаловался, и не любил, когда другие жалели его. Он старался возвысить и облагородить свои воспоминания о каторге так же, как о детстве, видел в ней суровый, но спасительный урок судьбы, без которого не было ему выхода на новые пути жизни. “Я не ропщу, – пишет он брату из Сибири, – это мой крест, и я его заслужил”³⁶. Но если он в самом деле не роптал, то не следует забывать, чего ему стоила эта покорность.

“Я почти в отчаянии. Трудно передать, сколько я выстрадал”³⁷. – “Те четыре года считаю я за время, в которое я был похоронен живой и закрыт в гробу. Что за ужасное было это время, не в силах я рассказать тебе, друг мой. Это было страдание невыразимое, бесконечное, потому что всякий час, всякая минута тяготела как камень у меня на душе. Во все четыре года не было мгновения, в которое бы я не чувствовал, что я в каторге. Но что рассказывать! Даже если бы я написал к тебе 100 листов, то и тогда ты не имел бы понятия о тогдашней жизни моей. Это нужно, по крайней мере, видеть самому, я уже не говорю испытать”³⁸.

Итак, если вообще утешать себя мыслью о пользе каторги для Достоевского, то, конечно, не в прямом житейском, как он, однако, сам любил это делать, а лишь в сверхжизненном значении этой пользы. Не встречаемся ли мы здесь опять с теми таинственными силами, которые как будто невидимо бодрствуют над всеми земными судьбами Достоевского и ведут его к особой цели? В этом смысле каторга, действительно, была одним из ударов, на которые он сам иногда как будто напрашивался, который раздавил бы и уничтожил всякого другого на его месте, а ему нужны были, во всяком случае, нужнее, чем, например, столь же сверхжизненное, роковое счастье Л. Толстого, – потому что удары эти выковывали Достоевскому душу, необходимую, чтобы создать то, что он создал:

Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат³⁹.

Все, о чем Л. Толстой мечтал, к чему стремился и что, может быть, иногда в его созерцании было глубоким, но, только что переходило в действие, становилось похожим на забаву – лишение собственности, труд телесный, слияние с народом – все это пришлось Достоевскому испытать на деле, и притом с такой подавляющей суровостью, с какой это только возможно.

Арестантский полушубок и кандалы были для него отнюдь не отвлеченным символом, а действительным знаком гражданской смерти и отвержения от общества. Сколько бы Л. Толстой ни рубил деревья для бедных поселян, сколько бы ни пахал землю в поте лица, это все-таки менее труд, чем охота, аскетическое упражнение и гимнастика. Сущность труда, все равно физического или умственного, заключается в сознании не только нравственной, но и телесной необходимости, в действительной опасности, в действительном страхе, унижении и беспомощности нужды: если не заработаю, то через день, через месяц или год останусь без куска хлеба. Это кажется общеизвестным, но на самом деле вовсе не так легко понятно в последней жизненной глубине своей для людей с таким воспитанием и прошлым, как Л. Толстой. Подобно тому, как человек, никогда не испытывавший известной физической боли, не может иметь представления о ней, сколько бы ни старался вообразить ее, так тот, кто никогда не испытывал нужды, не может ее понять, сколько бы ни думал и ни рассуждал о ней.

В этом отношении Достоевский был счастливее Л. Толстого: судьба послала ему случай испытать на каторге труд и нужду простых людей точно так же, как он узнал страх смерти не в отвлеченных мыслях о ней, а в ее действительной близости, стоя на эшафоте.

Летом, в первый год его осторожной жизни, около двух месяцев продолжалась носка кирпичей с берегов Иртыша к строившейся казарме, саженой на семь-

десять расстояния, через крепостной вал. “Работа эта, – говорит Достоевский, – мне даже понравилась, хотя веревка, на которой приходилось носить кирпичи, постоянно натирала мне плечи. Но мне нравилось то, что от работы во мне, очевидно, развилась сила”⁴⁰. Какая разница со Л. Толстым, пашущим или носящим кирпичи для печки бедной бабы.

Если ему приятно ощущение развивающейся силы, это все-таки не отвлеченный, иносказательный труд, не одна из “четырёх упряжек”, не эпикурейский спорт или гимнастика: он знает, что от телесной силы зависит жизнь его, спасение, вопрос о том, вынесет ли он или не вынесет каторгу. Он также знает, что хотя ему и нравится носить кирпичи, но если бы он вздумал отказаться от работы, его ожидают брань и побои конвойных, розги острожного начальства. И нешуточность, необходимость труда дают ему жизненный смысл.

Достоевскому не нужно в отвлеченных умозрениях отвергать собственность и условия культурного общества: он сам отвержен. Л. Толстой сделал вполне верный и точный, но, в сущности, оказавшийся бесплодным для жизни его математический расчет, что ему следовало бы дать нищему старику две тысячи рублей для того, чтобы милостыня его равнялась двум копейкам плотника Семена. Он приведен был к сомнению, имеет ли он вообще право помогать бедным, и кажется, это сомнение еще и по сию пору не разрешилось. Для каторжника Достоевского подобных сомнений вовсе не могло существовать: сама жизнь разрешила их за него, поставив его в такое положение, в котором пришлось ему не давать, а принимать милостыню. “Это было скоро по прибытии моем в острог, – рассказывает Достоевский, – я возвращался с утренней работы один, с конвойным. Навстречу мне прошли мать и дочь, девочка лет десяти, хорошенькая, как ангельчик. Я уже видел их раз. Мать была солдатка, вдова. Ее муж, молодой солдат, был под судом и умер в госпитале, в арестантской палатке, в то время, когда и я там лежал больной. Жена и дочь приходили к нему прощаться; обе ужасно плакали. Увидя меня, девочка покраснелась, пошептала что-то матери, та тотчас же остановилась, отыскала в узелке четверть копейки и дала ее девочке. Та бросилась бежать за мной. – На, несчастный, возьми Христа ради, копеечку! – кричала она, забегаая вперед меня и суя мне в руки монетку. Я взял ее копеечку, и девочка возвратилась к матери, совершенно довольная. Эту копеечку я долго берег у себя”. Сколько бы ни уверяли нас жизнеописатели Толстого, что хотя он и не роздал своего имения, но что это все равно, потому что он перестал им “пользоваться”, мы все-таки чувствуем, что того стыда и той гордости, той боли и того наслаждения, которые испытал Достоевский, принимая милостыню от девочки, Л. Толстому ни разу в жизни не дано было испытать; мы чувствуем, что тут есть великая разница в *подлинности* если не мыслей и намерений, то действий и ощущений.

Во время говения «в церкви, – рассказывает Достоевский, – мы становились тесной кучей, у самых дверей, на самом последнем месте. Я припоминал, как бывало еще в детстве, стоя в церкви, смотрел я иногда на простой народ, густо теснившийся у входа и подобострастно расступившийся перед густым эполетом, перед толстым барином, перед расфуфыренной, но чрезвычайно богомольной барыней, которые непременно проходили на первые места и готовы были поминутно ссориться из-за первого места. Там, у входа, казалось мне тогда, и молились-то

не так, как у нас, молились смиренно, ревностно, земно и с каким-то полным сознанием своей приниженности. Теперь и мне пришлось стоять на этих же местах; даже и не на этих: мы были закованные и ошельмованные, от нас все сторонились, нас все даже как будто боялись, нас каждый раз оделяли милостыней, и, помню, мне это было даже как-то приятно, какое-то утонченное, особенное ощущение сказывалось каждый раз в этом удовольствии. “Пусть же, коли так!” – думал я. Арестанты молились очень усердно, и каждый из них каждый раз приносил свою нищенскую копейку на свечку или клал на церковный сбор. “Тоже ведь и я человек”, – может быть, думал он или чувствовал, подавая, – “перед Богом-то все равны”. Причащались мы за ранней обедней. Когда священник с чашей в руках читал слова: “но яко разбойника мя приими”, почти все повалились на землю, звуча кандалами, кажется приняв эти слова буквально на свой счет».

Такой опыт давал право Достоевскому утверждать впоследствии, что он жил с народом и знает его. Когда вместе с другими каторжниками повторял он в сердце своем: “яко разбойника мя приими”, он не отвлеченно созерцал, а действительно, всем существом своим чувствовал и мерил бездну, отделяющую народ от культурного общества, по краю которой Л. Толстой всю жизнь только скользил в художественных и нравственных созерцаниях.

Начало своей эпилепсии Достоевский приписывал каторге. Мы знаем, что, по другому свидетельству, болезнь эта началась у него в детстве. По всей вероятности, в необычайно повышенной и утонченной чувствительности таилась главная причина недуга, который только развился и усилился во время каторги. В письме к императору Александру II “бывшего государственного преступника” Достоевского он утверждает, будто бы болезнь его началась в первый же год каторжной работы. “Болезнь моя, – прибавляет он, – усиливается более и более. От каждого припадка я, видимо, теряю память, воображение, душевные и телесные силы. Исход моей болезни – расслабление, смерть или сумасшествие”⁴¹. Нам известно, что в жизни его действительно бывали времена, когда падающая грозила ему совершенным помрачением умственных способностей. “Припадки болезни, – по словам Страхова, – случались с ним приблизительно раз в месяц, – таков был обыкновенный ход. Но иногда, хотя очень редко, бывали чаще; бывало даже и по два припадка в неделю”.

“Самому мне, – продолжает Страхов свой замечательный рассказ, – довелось раз быть свидетелем, как случился с Федором Михайловичем припадок обыкновенной силы. Это было, вероятно, в 1863 году, как раз накануне Светлого Воскресения. Поздно, часу в 11-м, он зашел ко мне, и мы очень оживленно разговорились. Не могу вспомнить предмета, но знаю, что это был очень важный отвлеченный предмет. Федор Михайлович очень оживился и зашагал по комнате, а я сидел за столом. Он говорил что-то высокое и радостное; когда я поддержал его мысль каким-то замечанием, он обратился ко мне с вдохновенным лицом, показывавшим, что одушевление его достигло высшей степени. Он остановился на минуту, как бы ища слова для своей мысли, и уже открыл рот. Я смотрел на него с напряженным вниманием, чувствуя, что он скажет что-нибудь необыкновенное, что услышу какое-то откровение. Вдруг из его открытого рта вышел странный, протяжный и бессмысленный звук, и он без чувств опустился на пол среди комнаты”.

«В это мгновение вдруг чрезвычайно искажается лицо, особенно взгляд, — описывает припадок сам Достоевский в “Идиоте”. — Конвульсии и судороги овладевают всем телом и всеми чертами лица. Страшный, невообразимый и ни на что не похожий вопль вырывается из груди; в этом вопле вдруг исчезает как бы все человеческое, и никак невозможно, по крайней мере, очень трудно наблюдателю вообразить и допустить, что это кричит этот же самый человек. Представляется даже, что кричит как бы кто-то другой, находящийся внутри этого человека. Многие, по крайней мере, изъясняли так свое впечатление; на многих же вид человека в падучей производит решительный и невыносимый ужас, имеющий в себе даже нечто мистическое».

Древние называли падучую *священной болезнью*. Народы Востока видели в ней тоже, как выражается Достоевский, “нечто мистическое”, связанное с даром пророчества и ясновидения, божеское или бесовское. В истории великих религиозных движений мы встречаемся иногда с этой мало исследованной или, по крайней мере, мало объясненной болезнью, особенно — в их первом начале, в их самых темных подземных родниках. В одном из глубочайших произведений своих, в “Бесах”, Достоевский несколько раз с упорной вдумчивостью возвращает к легенде о знаменитом кувшине эпилептика Магомета, не успевшем, будто бы, пролиться в то время, как пророк на коне Аллаха облетел небеса и преисподнюю⁴². Замечательно, что и в рассказе Страхова намечена эта же связь чего-то “высокого и радостного”, видимо религиозного, какого-то “откровения”, для которого Достоевский искал и не находил слов, с мгновенно затем наступившим припадком.

Во всяком случае, на жизнь его, не только телесную, но и духовную, на все его художественное творчество и даже отвлеченную философскую мысль “священная болезнь” оказала поразительное действие. В своих произведениях он говорит о ней с особым сдержанным волнением, как бы с мистическим ужасом. Самые значительные и противоположные из его героев — изверг Смердяков, “святой” князь Мышкин, “пророк Человекобога” нигилист Кирилов — эпилептики. Припадки падучей были для Достоевского как бы страшными провалами, просветами, внезапно открывавшимися окнами, чрез которые он заглядывал в потусторонний свет. “Затем вдруг как бы что-то разверзлось перед ним: необычайный *внутренний свет* озарил его душу”, — говорит он в одном из своих описаний⁴³. “Много раз мне рассказывал Федор Михайлович, — вспоминает Страхов, — что перед припадком у него бывают минуты восторженного состояния”. — “На несколько мгновений, — говорил он, — я испытываю такое счастье, которое невозможно в обыкновенном состоянии, и о котором не имеют понятия другие люди. Я чувствую полную гармонию в себе и во всем мире, и это чувство так сильно и сладко, что за несколько секунд такого блаженства можно отдать десять лет жизни, пожалуй, всю жизнь”. Но после припадка “душевное состояние его было очень тяжело; он едва справлялся со своею тоскою и впечатлительностью. Характер этой тоски, — по его словам, — состоял в том, что он чувствовал себя каким-то преступником, ему казалось, что над ним тяготеет неведомая вина, великое злодейство”.

Великая святость, великое злодейство, потусторонняя радость, потусторонняя скорбь — и оба чувства вдруг соединяются, разрешаются в мгновенной, осле-

пляющей как молния, точке, в последнюю “четверть секунды”, когда “кувшин Магомета” не успел еще пролиться и когда из груди “бесноватого уже вырывается ужасающий вопль, который заставляет думать, что кричит не он сам, а кто-то другой, внутри его находящийся” – не человек.

Как знать, не касаемся ли мы здесь самого глубокого первоначального и неразгаданного в существе Достоевского, в его телесном и духовном составе? Не сходятся ли в этом узле все нити клубка? И не кажется ли иногда, что именно эти припадки, эти внезапно разражающиеся бури какой-то недоступной нашему исследованию, но, может быть, во всех нас безмолвно копящейся, ожидающей силы сделали телесную оболочку Достоевского, пелену плоти и крови, отделяющую душу от того, что за плотью и кровью, более тонкою, более прозрачною, чем у других людей, так, что он уже мог видеть сквозь нее то, чего никогда никто из людей не видал.

И опять является невольно сравнение с Л. Толстым, – сравнение “священной”, демонической болезни Достоевского, которая, может быть, вовсе не есть слабость, скудость, а напротив – грозовой, скопившийся избыток жизненной силы, до последнего предела доведенное утончение, обострение, сосредоточение духовности, – с не менее священным и демоническим избытком *плотскости*, крепости, здоровья у Л. Толстого, с избытком, в конце концов, той же, как у Достоевского, столь же грозовой и оргийной, только иначе проявляющейся, разражающейся жизненной силы. Впоследствии мы увидим, что Л. Толстой почерпает свою, не мнимую, не лжехристианскую, а истинную, языческую религиозность из бесконечного углубления в тайны этой плотскости, этой *божеской* животности; я говорю – божеской для того, чтобы выразить, что, с известной религиозной точки зрения, животное в человеке столь же свято и небесно, как духовное, так что плоть и дух только в своих видимостях, только в явлениях – противоположны, но в последней потусторонней сущности – едины. Застарелая дурная привычка лжехристианства или, лучше сказать, павлианства⁴⁴, заставляет почти всех современных людей, даже отрекшихся от религиозности, унижать плотское в пользу духовного, отвлеченного, рассудочного, бесплотного и бескровного, как нечто низшее, греховное или, по крайней мере, грубое, стыдное, скотское. Есть, однако, глубина религиозного созерцания соединяющая, *символическая* (опять напоминаю: *символ* – *συμβολον* значит *соединение*), для которой плоть столь же потусторонняя, как дух, для которой бездна животного, кажущаяся темною, нижнею, становится равною бездне духовного, кажущейся светлою, верхнею, ночное полушарие небес – равно дневному. Л. Толстой, как мыслитель-художник, погружаясь именно в эти бездны животного, на последних его пределах встречает другое начало, вечно ему противоположное и *как будто* его отрицающее – сознание грозящего разрушения животной личности, сознание смерти. Здесь-то и начинается его трагедия; здесь впервые брезжит тот “холодный белый свет”, который кажется ему светом нового христианского “воскресения” и который поражает князя Андрея в ночь перед Аустерлицким сражением.

«И с высоты этого представления, то есть представления о смерти, все, что прежде мучило и занимало его, вдруг осветилось холодным белым светом, без теней, без перспективы, без различия очертаний. Вся жизнь представилась ему волшебным фонарем, в который он долго смотрел сквозь стекло и при искусств-

венном освещении. Теперь он увидел вдруг без стекла, при ярком дневном свете, эти дурно намалеванные картины. “Да, да, вот они, те волновавшие и восхищавшие и мучившие меня ложные образы”, – говорил он себе, перебирая в своем воображении главные картины своего волшебного фонаря жизни, глядя теперь на них при этом холодном белом свете дня – ясной мысли о смерти. – “Все это ужасно, просто гадко!”»

Итак, для Толстого свет смерти светит на жизнь извне, разлагая, угашая краски и образы жизни; для Достоевского он светит изнутри. Свет смерти и свет жизни для него – свет единого огня, который зажжен внутри “волшебного фонаря” явлений. Для Толстого весь религиозный смысл жизни заключается в переходе от жизни к смерти – *в другом свете*. Для Достоевского этого перехода как бы вовсе нет, он как бы все время, пока живет, умирает. Постоянно зияющие провалы, просветы, припадки “священного недуга” – утончили, опзрачили ткань его животной жизни, сделали ее редкою, сквозящею, повсюду просвечивающею внутренним светом. Для Толстого тайна смерти – за жизнью; для Достоевского сама жизнь – такая же тайна, как смерть. Для него холодный свет будничного петербургского утра есть в то же время и страшный “белый свет смерти”. Для Толстого существует только вечная противоположность жизни и смерти; для Достоевского – только их вечное единство. Толстой смотрит на смерть изнутри посюсторонним взглядом; Достоевский взглядом потусторонним смотрит на жизнь изнутри того, что живущим кажется смертью.

Кто же из них ближе к истине? Какая из этих двух жизней прекраснее?

Я сознаю, что по первой главе моего исследования читатель может заподозрить меня в предубеждении против Л. Толстого в пользу Достоевского. В действительности мне только хотелось перегнуть и выправить лук, слишком натянутый в противоположную сторону толстовским и вообще современным европейским, чересчур узко и односторонне, исключительно аскетически и рассудочно понимаемым христианством. Но если я был односторонним, даже как будто несправедливым, то это – преднамеренно и предварительно; я не остановлюсь на этой ступени исследования; я постараюсь пойти далее, углубляясь в художественное, философское и религиозное творчество обоих писателей. До сей поры я сравнивал их как людей, с точки зрения христианской или кажущейся христианскою, исчерпывающею то, что у современных людей называется христианством. Но если бы я сравнил эти две жизни и с противоположной точки зрения – языческой или опять-таки кажущейся языческою, то не пришлось ли бы мне заключить, что жизнь Л. Толстого, со своею неувядаемою свежестью, крепостью, неисчерпаемою, земною, посюстороннею радостью, – совершеннее, прекраснее, чем жизнь Достоевского. И, наконец, с третьей и последней точки зрения – символической, соединяющей оба противоположные религиозные полюса, не покажутся ли жизнь Л. Толстого и жизнь Достоевского одинаково, хотя и противоположно и несовершенно прекрасными – несовершенно потому, что все-таки нет ни у того, ни у другого, в русской культуре уже предзнаменованной Пушкиным степени гармонии – у Толстого вследствие перевеса плоти над духом, у Достоевского – духа над плотью. Тем не менее, обе эти жизни, одинаково великие, одинаково русские, завершают и дополняют одну другую, необходимы одна для другой, как будто нарочно созданы для пророческих сопоставлений и сравнений.

Это как бы две, из одной точки в разные стороны расходящиеся линии до сей поры не замкнутого, но могущего и долженствующего быть замкнутым круга, так что уже и теперь мы знаем, что две эти линии снова сольются, образуют совершенный круг, во второй, противоположной и высшей точке. Это – два до времени кажущиеся противоречивыми, на самом деле уже и теперь согласные пророчества еще неведомого, но уже нами чаемого русского гения, столь же стихийного и народного, как Пушкин, из которого вышли Толстой и Достоевский, но вместе с тем уже более сознательного и, следовательно, более всемирного – второго и окончательного, соединяющего, символического Пушкина. – Это два великих столпа, еще одиноких и не соединенных, в преддверии храма; две обращенные друг к другу и противоположные части одного уже начатого, но в целостности своей еще невидимого здания – здания русской и в то же время всемирной религиозной культуры.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

Когда умер Пушкин, Достоевскому было шестнадцать лет.

«Не знаю, – вспоминает брат его, Андрей Михайлович, – вследствие каких причин известие о смерти Пушкина дошло до нашего семейства уже после похорон матушки. Вероятно, наше собственное горе и сидение всего семейства постоянно дома были причиною этому. Помню, что братья чуть с ума не сходили, услышав об этой смерти и о всех подробностях. Брат Федор в разговорах со старшим братом несколько раз повторял, что ежели бы у нас не было семейного траура, то он просил бы позволения отца носить траур по Пушкину»¹.

Итак, смерть матери не заглушила в Достоевском горя о смерти Пушкина. Если он еще не сознавал, то уже чувствовал в шестнадцать лет так же, как впоследствии в шестьдесят, свою с ним живую, кровную связь; не только благоговел перед ним, как перед великим учителем, но и любил его, как самого близкого, родного человека.

В те же годы для Л. Толстого, как сам он признается в «Юности», Пушкин и другие русские писатели были только «книжки в желтом переплете, которые он читал и учил ребенком». Он со стыдом сравнивает свой тогдашний дурной вкус со вкусом товарищей своих, студентов Московского университета. «Пушкин и Жуковский были для них литература. Они презирали равно Дюма, Сю и Февала и судили... гораздо лучше и яснее о литературе, чем я». – «В то время только начинали появляться «Монтекристо» и разные «Тайны», и я зачитывался романами Сю, Дюма и Поль де Кока². Все самые неестественные лица и события были для меня так же живы, как действительность. Я не смел заподозрить автора во лжи. На основании романов, у меня даже составились новые идеалы нравственных достоинств, которых я желал достигнуть. Я желал быть во всех своих делах и поступках, к чему у меня и прежде была склонность... как можно более *comme il faut**. Я даже наружностью и привычками старался быть похожим на героев этих романов».

* *comme il faut* (франц.) – как следует, как надо, прилично.

Таково художественное воспитание Л. Толстого и Достоевского. Конечно, уже и в шестнадцать лет Достоевский понимал грубость и пошлость Дюма и Поль де Кока. Его литературные вкусы и суждения для отрока поразительно тонки, зрелы и независимы. Ему одинаково доступна и русская, и западноевропейская литература. В одном из своих несколько восторженных юношеских писем из Инженерного Училища сообщает он брату: “Мы разговаривали о Гомере, Шекспире, Шиллере, Гофмане”. “Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им”. “Имя Шиллера стало мне родным”³. Но он умеет ценить не только Шекспира и Шиллера, сравнительно более доступных для понимания тогдашних русских молодых людей, увлекавшихся романтизмом и готикой, но и великих французских классиков XVII века, Расина и Корнеля, о которых впоследствии Белинский судил так поверхностно⁴. Достоевский уже не разделяет в то время модного у нас, навеянного немецкою критикой, педантически презрительного отношения к так называемой “псевдоклассической литературе”. И какое глубокое чутье к самой далекой и чуждой культуре сказывается именно в том, что, признавая внутреннюю условность, подражательность французских классиков, этот русский мальчик из “благочестивого московского семейства”, сын больничного штаб-лекаря восхищается совершенством и законченною гармонией внешних форм придворных поэтов Людовика XIV. “А *Phedre*? Брат! Ты Бог знает, что будешь, ежели скажешь, что это не высшая и чистая природа и поэзия. Ведь это Шекспировский очерк, хотя статуя из гипса, а не из мрамора”⁵. Может быть, о “Федре” во всей русской литературе нет суждения, более сжатого и меткого, чем то, что сказано в этих двух строках. В другом письме защищает от Корнеля от нападок брата: «Читал ли ты “*Le Cid*”? Прочти, жалкий человек, прочти и пади в прах перед Корнелем»⁶.

Если принять в расчет глубокую религиозность Достоевского, которая сказывалась в нем уже с самого детства и впоследствии заставила его на всю жизнь возненавидеть Белинского за несколько необдуманных слов о религии, то следующее сравнение Христа и Гомера, несмотря на свою наивность и восторженность, покажется многозначительным: “Гомер (баснословный человек, может быть, как Христос, воплощенный Богом и к нам посланный) может быть параллелью только Христу, а не Гете. Вникни в него, брат, пойми Илиаду, прочти ее хорошенько (ты ведь не читал ее, признайся). Ведь в Илиаде Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной, и земной жизни, совершенно в такой же силе, как Христос – новому. Теперь поймешь ли меня?”⁷

В течение всей своей жизни Достоевский сохранил это чутье ко всемирной – по его собственному выражению, “всечеловеческой” культуре, эту способность чувствовать себя везде дома, приобщаться к внутренней, духовной жизни всех веков и народов, способность, которую он всегда считал, как и высказал в Пушкинской речи, главною особенностью Пушкина и вообще русского гения, *всемирного* по преимуществу перед гениями других европейских народов.

Он пишет Страхову летом 1863 года, во время первой поездки за границу: “Странно: пишу из *Рима*, и ни слова о Риме. Но что бы я мог написать вам? Боже мой! Да разве это можно описывать в письмах? Приехал третьего дня ночью. Вчера утром осматривал св. Петра. Впечатление сильное, Николай Николаевич, с холодом по спине. Сегодня осматривал *Forum* и все его развалины. Затем – *Коллизей*! Ну, что ж я вам скажу?”⁸

Он имел право сказать впоследствии, что Европа для него нечто “святое и страшное”, что у него “две родины – Россия и Европа”⁹, что “Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их” ему иногда были “милей, чем Россия”¹⁰. И в этом смысле Достоевский, будучи, после Пушкина, самым русским из русских писателей, в то же время – величайший из русских европейцев. Он показал на себе, что быть русским значит быть в высшей степени европейцем, быть всемирным.

Л. Толстой, имея сам, как художник, всемирное значение, обладая другим столь же русским свойством – необъятною силою народной стихийности, в то же время вовсе лишен этой, казавшейся Достоевскому отличительным русским свойством, способности ко всемирной культуре. Несмотря на весь рассудочный, мнимо-христианский космополитизм Л. Толстого, среди великих русских писателей нет, кажется, другого, более стесненного в своем творчестве условиями места и времени, границами своей народности и своего века, чем Л. Толстой. Все нерусское и несовременное ему не то что враждебно, а просто – чуждо, непонятно, нелюбопытно. Творец “Войны и мира”, произведения, желающего быть историческим, может быть, умом признает и даже отчасти знает историю, но сердцем никогда ее не чувствовал, никогда не проникал или не старался, не устаивал проникнуть во внутреннюю, духовную жизнь других веков и народов. Для него не существует *восторга дали*, этого вдохновляющего чувства Истории – ни живой скорби, ни живой радости прошлого. Он весь до глубочайших корней своих – в *настоящем*, в современной русской действительности, в русском рабочем народе и русском барине. Нам известно, что в молодости Л. Толстой был в Италии, но он не вынес из нее никаких впечатлений. Если бы мы не знали наверно из его биографии, что он действительно был за Альпами, можно бы в этом усомниться. “Осколки святых чудес” не возбудили в нем никакого трепета. “Старые чужие камни” остались для него мертвыми. Если однажды, походя, с легким сердцем, подобно запоздалому русскому нигилисту В. Стасову¹¹, называет он “Страшный суд” Микеланджело “нелепым” произведением¹², то это не по собственным воспоминаниям, а по какому-нибудь случайно виденному снимку.

Кажущееся условным во всякой культуре, а на самом деле, с известной исторической точки зрения, может быть, столь же естественное, как сама природа, для Л. Толстого всегда искусственно и, следовательно, лживо. Этот преувеличенный страх всего “условного” переходит у него, наконец, в страх всего культурного. Так, проза кажется ему естественнее стихов. И не думая о том, что мерная речь первобытнее и что люди именно в самых страстных, то есть в самых естественных своих душевных состояниях имеют склонность так же, как дети и младенческие народы, выражать свои чувства стихами, песней, Л. Толстой решает, что всякое стихотворное произведение условно и, следовательно, лживо. Еще в молодости “он осмеивал величайшие произведения русской литературы только потому, что они были написаны в стихах, – замечает немецкий биограф Толстого, – изящная форма в глазах его не имела никакого значения, так как, по его мнению, которому он, кстати сказать, *всегда оставался верным*, такая форма налагает оковы на мысль”¹³.

Нигде не сказывается это отсутствие чутья ко всемирной культуре так ярко, как в одном из последних произведений Л. Толстого, в котором он подводит итог

своим художественным суждениям и мыслям за целую жизнь – в статье “Что такое искусство?”

Относительного нового, так называемого “декадентского” направления, он дает обещание скромности, которого не сдерживает: “Осуждать новое искусство за то, что я, человек воспитания первой половины века, не понимаю его, я не имею права и не могу; я могу только сказать, что оно непонятно для меня. Единственное преимущество того искусства, которое я признаю, перед декадентским состоит в том, что это, мною признаваемое, искусство понятно большему числу людей, чем теперешнее”. Не довольствуясь, однако, признанием своего непонимания, он судит и осуждает без разбора, так сказать, валит в одну кучу всех: “Бёклина и Клингера, Ибсена и Бодлэра, Ницше и Вагнера. О мистериях Метерлинка и Гауптмана выражается так: какие-то слепые, которые, сидя на берегу моря, для чего-то повторяют все одно и то же; или какой-то колокол, который слетает в озеро и там звонит¹⁴. Ницше кажется ему так же, как самым беспечным русским газетчиком, только полоумным.

Казалось бы, по крайней мере, что для человека, воспитанного в первой половине столетия, должны быть особенно дороги и понятны не “декадентские” художники и поэты прошлых веков. А между тем ниспровергает он с еще большею беспощадностью несомненные древние славы, чем новые, сомнительные. Так, он уверяет, будто бы «произведение, основанное на заимствовании, как, например, “Фауст” Гете, может быть очень хорошо обделано, исполнено ума и всяких красот, но оно не может произвести настоящего художественного впечатления, потому что лишено главного свойства произведения искусства – цельности, органичности. Сказать про такое произведение, что оно хорошо, потому что поэтично, все равно что сказать про монету, что она хорошая, потому что похожа на настоящую» (Т. XV, стр. 124). “Фауст” для него фальшивая монета, потому что это произведение слишком культурно-условно. Любовные новеллы Боккаччо уже с другой, аскетически-христианской точки зрения считает он “размазыванием половых мерзостей”¹⁵. Произведения Эсхила, Софокла, Еврипида, Данте, Шекспира, музыки Вагнера и последнего периода Бетховена называет сначала “рассудочными, выдуманными”, а затем “грубыми, дикими и часто бессмысленными” (Т. XV, стр. 136–137). Во время представления “Гамлета” он испытывал “то особенное страдание, которое производят фальшивые произведения”, и вместе с тем по одному описанию охотничьей драмы из театра Вогулов¹⁶, заключает, что “это – произведение истинного искусства” (Т. XV, стр. 167–168).

На человека западноевропейской культуры столь простодушные кощунства, которые могут казаться “русским варварством” и которые на самом деле суть варварство общеевропейское, зависящее от современного демократического и мнимо-христианского одичания вкуса, должны производить впечатление неистовства дикаря Калибана¹⁷, разбивающего Эгинские мраморы¹⁸, режущего на куски портрет монеты Лизы.

Но не так страшен черт, как его малюют. Этот Герострат¹⁹, который подымает руку на Эсхила и Данте, для которого Пушкин в настоящее время если не учебник в “желтом переплете”, то распутный человек, “писавший неприличные стихи о любви”²⁰, наивно преклоняется перед Бергольдом Ауэрбахом, Эллиот и “Хижиную дяди Тома”²¹. В конце концов, не столько по тому, что он отрицает,

сколько по тому, что он признает, убеждаешься, что в своих *сознательных* суждениях о чуждых ему областях искусства Л. Толстой на склоне дней своих недалеко ушел от самой первой молодости, когда зачитывался Февалем, Дюма и Поль де Коком. И всего печальнее, может быть, именно то, что из-под страшной маски Калибана выглядывает слишком знакомое и не страшное лицо русского помещика-демократа, барина-позитивиста шестидесятых годов.

Еще поразительнее сказывается у Л. Толстого эта беспомощность культурного сознания в его отношении к собственному творчеству.

“Я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости, – уверяет он в “Исповеди”. Я – художник, поэт, – писал, учил, сам не зная чему. Мне за это платили деньги, у меня было прекрасное кушанье, помещение, общество, у меня была слава. Стало быть, то, чему я учил, было очень хорошо”. “Настоящим задушевым рассуждением нашим было то, что мы хотим как можно больше получать денег и похвал. Для достижения этой цели мы ничего другого не умели делать, как только писать книжки и газеты. Мы это и делали”²². “Та деятельность, – вспоминает он уже после религиозного переворота восьмидесятых годов, – которая называется художественной и которой я прежде отдавал все свои силы, не только потеряла для меня прежде приписываемую ей важность, но стала прямо неприятна мне по тому несвойственному месту, которое она занимала в моей жизни и занимает вообще в понятиях людей в богатых классах”²³. Свидетельство Берса о том, что со своей теперешней “христианской” точки зрения Л. Толстой “все прежнее свое творчество считает вредным, потому что в нем описывается любовь в смысле полового влечения и насилия”, заслуживает тем большего доверия, что это суждение находится в совершенно правильной логической связи с остальными суждениями Л. Толстого об искусстве. Не сам ли он в конце жизни, подводя итог всей своей художественной деятельности, решает со свойственной ему смесью сознательной искренности и бессознательного притворства: «еще должен заметить, что свои художественные произведения я причисляю к области дурного искусства, за исключением рассказа “Бог правду видит” и “Кавказского пленника”»²⁴, то есть за исключением двух, как нарочно, самых слабых нравоучительных рассказов!

• И не только в последние годы, то есть во время сравнительного ущерба своей творческой силы, но и гораздо ранее – в пору высшего подъема ее – думал он или, по крайней мере, старался думать, желал убедить себя и других, что думает о своих произведениях почти так же, как теперь: «Берусь, – пишет он Фету, в 1875 году, – за скучную и пошлую “Анну Каренину” с одним желанием – поскорее опростать себе место, досуг для других занятий»²⁵.

Искренно ли считал он “Анну Каренину” “скучною и пошлою”? Неужели, действительно, не любил ее даже в то время, когда писал? Если и любил, то во всяком случае не сознательно или менее сознательно любовью, чем, например, Гете – своего “Фауста”, Пушкин – “Евгения Онегина”.

В этих степенях культурного сознания и заключается одно из главных отличий Л. Толстого от Достоевского. Будучи великим писателем, Л. Толстой никогда не был великим *литератором*, в том смысле, как Пушкин, Гете, Достоевский, которые сами себя считали не только владыками, но и работниками слова, для которых оно было не только духовным, но и насущным хлебом²⁶. Литерату-

ра в том значении, в котором я употребляю здесь это понятие, не есть нечто более искусственное, условное, а только более сознательное, чем стихийное творчество поэзии²⁷, хотя столь же естественное, – как вообще культура не есть нечто противоречащее, а только продолжающее дочеловеческую природу в мире человеческого сознания. С этой окончательной соединяющей точки зрения культура и природа суть единое, и тот, кто идет против условности культуры, идет против естества человеческого, против одной из самых божественных и вечных сил природы.

В презрении Л. Толстого к собственной художественной деятельности есть нечто темное и сложное, чего, кажется, он сам себе никогда не выяснял до конца. По крайней мере, в его литературном самолюбии заметны очень странные колебания и непоследовательности. “Никогда не было писателя, столь равнодушного к своему успеху, как я”, – уверяет он однажды Фета²⁸. Однако, по выходе в свет “Войны и мира”, просит того же Фета с трогательной откровенностью: “Напишите, что будут говорить в знакомых вам различных местах, и главное – как на массу. Верно, пройдет незамеченным. Я жду этого и желаю – только бы не ругали, а то ругательства расстраивают”²⁹. По собственным словам его (так, по крайней мере, утверждает один из его самых простодушных и правдивых жизнеописателей), в нем было всегда “приятное сознание того, что он писатель и аристократ”³⁰, именно *писатель* или, как в старину говорили, “свободный художник”, но не *литератор*, в том смысле, как Пушкин и Гете. Л. Толстой всю свою жизнь стыдился литературы и с сознательной, будто бы народной, и с бессознательной, аристократической точки зрения презирал ее как нечто срединное, мещанское, не святое и не благородное. Но в этом стыде и презрении едва ли скрывается откровенный аристократизм гения, а не дурно, хотя и тщательно скрытый, коренящейся в нем глубже, чем это может казаться с первого взгляда, сословный аристократизм, само себя отрицающее, но стыдящееся, все-таки иногда прорывающееся наружу барство.

“Достоевский, – говорит Страхов, – любил литературу. Он принимал ее, как она есть, со всеми ее условиями, никогда не становился от нее в стороне и не бросал на нее взглядов свысока. Это отсутствие малейшего *литературного аристократизма* есть в нем черта прекрасная и даже трогательная. Русская литература была... *почвою*, на которой вырос Федор Михайлович, от которой он никогда не отрывался, к которой питал кровную любовь и преданность. Он хорошо знал, что выступая в публику и в литературную сферу, выходит на базар, на площадь, и нимало не думал стыдиться ни своего ремесла, ни своих собратий по ремеслу. Напротив, он гордился этим делом, считал его великим, священным”.

Как люди прежней барской брезгливости находили для себя унизительным зарабатывать насущный хлеб ручным трудом, точно так же Л. Толстой, с точки зрения, хотя нового, но едва ли менее высокомерного и брезгливого мирозерцания, считает позорным брать плату за умственный труд. С младенческим незнанием нужды и труда, он только презрительно пожимает плечами, когда слышит, что истинный художник может творить ради денег.

“Я всю жизнь мою, – говорит Достоевский, – ни разу не продавал сочинений, не брав вперед деньги. Я литератор-пролетарий, и если кто захочет моей работы, то должен меня вперед обеспечить”³¹. Этот человек, у которого такая гор-

дыня, такое, как он сам выражается, тщеславие, “как будто с него кожу содрали, и ему от одного воздуха больно”, который, может быть, не меньше Л. Толстого дорожит свободой художника, – не стыдится, однако, “творить ради денег“, принимать плату за труд, как простой поденщик. Он сам себя называет “почтовой клячею”³². Он пишет к сроку по три с половиною печатных листа в два дня и две ночи. И с откровенностью, которая Льву Николаевичу должна казаться пределом рыночной наглости столь презираемых им “литераторов”, Достоевский признается: “Очень часто случалось в моей литературной жизни, что начало главы романа или повести было уже в типографии и в наборе, а окончание сидело еще в моей голове, но непременно должно было написаться к завтраму”³³. “Работа из-за нужды, из-за денег задавила и съела меня”³⁴. “Кончатся ли когда-нибудь мои бедствия? Ах, кабы деньги, да обеспечение!”³⁵ – это не затихающая боль и стон всей его жизни. Иногда в изнеможении от борьбы с нуждой проклинает он ее, но никогда не стыдится. У него особая внутренняя гордость среди внешнего позора, свойственного положению умственного работника в современном буржуазном обществе. Однажды в минуту подобной гордости он воскликнул: “Мое имя стоит миллиона”³⁶.

Почти тотчас по выходе из каторги, после испытанного им христианского просветления, впадает он в грех, по-видимому, самой грубой и цинической зависти: “Я очень хорошо знаю, что пишу хуже Тургенева, но ведь не слишком же хуже, и, наконец, я надеюсь написать совсем не хуже. Зачем же я-то с моими нуждами беру только 100 р., а Тургенев, у которого 2000 душ, по 400? От бедности я *принужден* торопиться и писать для денег, следовательно, *непременно портить*”³⁷. В приписке говорится, что Каткову он пошлет всего 15 листов по 100 р. – 1500 р. “Взял я у него 500, да еще, послав 3/4 романа, просил 200 на дорогу, итого взято 700. Приеду в Тверь без копейки, но зато в самом непродолжительном времени получаю с Каткова 700 или 800 р. Это еще ничего. Можно обернуться”. И так далее, все одно и то же. Бесконечными рядами цифр и счетов, прерываемых отчаянными мольбами о помощи, – “Ради Христа, спаси меня”, – пишет он однажды брату³⁸, – наполнены все письма Достоевского. Это сплошной мариолог, одно из самых великих сказаний о мученике умственного труда.

Особенно тяжелыми были для него четыре года от 1865 до 1869, которые, может быть, стоили четырех лет каторги. Так же, как перед первым несчастьем, судьба сначала приласкала его. Издаваемый им журнал “Время”³⁹ имел успех и приносил доход, так что он уже мечтал отдохнуть от нужды, когда его постигла неожиданная и незаслуженная цензурная кара. “Время” было запрещено за невинную и только дурно понятую статью по вопросу о польских делах⁴⁰. Произошло недоразумение такое же, как во время следствия по делу Петрашевского. Замечательны эти два недоразумения, едва не погубившие Достоевского сначала смертным приговором и каторгой, затем разорением. Люди власти не сумели признать в нем союзника. Но, может быть, в действительности это было и не совсем недоразумение: не подсказывало ли им верное чутье, что будущий творец “Великого Инквизитора” не такой для них надежный союзник, каким он казался или, по крайней мере, желал казаться?

Достоевский не пал духом, и почти тотчас после катастрофы с “Временем” принялся за издание “Эпохи”, но уже без прежнего успеха. Минута счастья была

пропущена без возврата. “Эпоху” постигла кара не правительственной, но столь же суровой “либеральной” русской цензуры, которая всегда была и, вероятно, всегда будет в России неразлучной спутницей, самым точным и верным, хотя и обратным, как в воде или зеркале, отражением правительственной цензуры, так что в одной неподвижной крайней черте, в одном горизонте эти обе цензуры сливаются.

Достоевский, любивший доходить до последнего горизонта, до крайней черты во всем, оказался между двух огней, в положении, из которого не суждено было ему выйти до конца жизни, – не только врагом правительства, но и врагом его врагов. «“Эпоха”, – рассказывает он сам, – была слабее противников, которым не было счета и которые разрешали себе не только всякое глумление и ругательство, например, называли своих оппонентов *ракалиями*, *бутербродами*, *стрижами* и т.п., но и позволяли себе намеки на то, что мы нечестны, угодники правительства, доносчики и т.д. Помню, как бедный Михаил Михайлович был огорчен, когда его “расчет с подписчиками” был где-то продернут и доказывалось, что он “обсчитал своих подписчиков”»⁴¹. «Они, то есть “либеральные противники”, – вспоминал он впоследствии в “Дневнике”, – объявили меня сыскно-полицейским писателем».

В это же самое время один за другим умерли брат его Михаил Михайлович, критик Аполлон Григорьев, самый близкий друг его, сотрудник по “Времени”, и первая жена, Мария Дмитриевна Достоевская.

“И вот я остался вдруг один, – пишет он А.Е. Врангелю⁴², – и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась надвое... Буквально, мне не для чего оставалось жить. Новые связи делать, новую жизнь выдумывать? Мне противна была даже мысль об этом... Семейство брата осталось буквально без всяких средств – хоть ступай по-миру. Я у них остался единой надеждой, и они все, и вдова, и дети, сбились в кучу около меня, ожидая от меня спасения. Брата моего я любил бесконечно, мог ли я их оставить?”⁴³ Продолжая издание “Эпохи”, «я мог бы прокормить и их, и себя, конечно, работая с утра до ночи, всю жизнь... К тому же надо было отдать долги брата: я не хотел, чтобы на его имя легла дурная память... Я стал печатать (последние книжки “Эпохи”) разом в трех типографиях, не жалел денег, не жалел здоровья и сил. Редактором был один я, читал корректуры, возился с авторами, с цензурой, поправлял статьи, доставал деньги. Просиживал до шести часов утра и спал по пяти часов в сутки и хоть ввел в журнал порядок, но уже было поздно”⁴⁴.

Журнал окончательно провалился. Достоевский принужден был объявить, как он выражается, “временное банкротство”. Кроме долга перед подписчиками, на нем оказалось до 10 000 вексельного долга и 5000 на честное слово. “О, друг мой, – пишет он Врангелю, – я охотно бы пошел опять на каторгу на столько же лет, чтобы только уплатить долги и почувствовать себя опять свободным. Теперь опять начну писать роман из-под палки, то есть из нужды, наскоро... Из всего запаса моих сил и энергии осталось у меня в душе что-то тревожное и смутное, что-то близкое к отчаянью. Тревога, горечь, самая холодная суетня, самое ненормальное для меня состояние и вдобавок – один: прежних и прежнего, сорокалетнего, нет уже при мне”⁴⁵. Самый ожесточенный из кредиторов его, издатель и книгопродавец Стелловский⁴⁶, откровенный негодяй, грозил посадить

его в тюрьму, “так что уж и помощник квартального, – говорит Федор Михайлович, – приходил ко мне для исполнения”⁴⁷. Остальные грозили тем же и подавали ко взысканию. Ему оставалось одно из двух: или долговое отделение, или бегство. Он предпочел последнее и бежал за границу.

Здесь провел он четыре года, невыразимо бедствуя.

О крайностях нужды, почти невероятных, – он ведь уже тогда был автором “Преступления и наказания”, великим русским, а для наиболее чутких ценителей мог быть и всемирным писателем – дают понятия письма его А.Н. Майкову из Дрездена от 1869 года. Тут все только самые будничные, житейские мелочи, но я не могу их обойти: не вникая в эти мелочи, нельзя *почувствовать* чужой нужды, точно так же, как не слыша стонов, не видя лица больного, нельзя почувствовать боли его. Тут никакие отвлеченные рассуждения о труде и бедности простого народа, о праздности и роскоши умственных работников ничего не выяснят.

“Я в последние полгода, – пишет Достоевский Майкову, – так нуждался с женой, что последнее белье наше теперь в закладе (не говорите этого никому)”, – прибавляет в скобках стыдливо и жалобно. “Я принужден буду тотчас же продать последние и необходимейшие вещи и за вещь, стоящую 100 талеров, взять 20, что, конечно, принужден буду сделать для спасения жизни трех существ, если он *замедлит* ответом, хотя бы и удовлетворительным”. Этот он, последняя надежда, соломинка, за которую он хватается, как утопающий, – какой-то господин Кашпирев, издатель “Зари”, ему совершенно неизвестный, которого, однако, он просит “похристиански”, то есть Христа ради, выручить его и выслать 200 рублей. “Но так как это, может быть, тяжело сделать сейчас, то прошу его выслать *сейчас* всего только 75 рублей (это, чтобы спасти сейчас из воды и не дать провалиться)... Не зная совершенно личности Кашпирева, пишу в усиленно-почтительном, хотя и несколько настойчивом тоне (боюсь, чтоб не пикировался; ибо почтительность слишком усиленная, да и письмо, кажется, очень глупым слогом написано)”⁴⁸.

Почти через месяц снова пишет он Майкову: “От Кашпирева до сих пор *ни копейки денег не получил* – одни обещания! Если бы вы знали только, в каком мы теперь положении. Ведь нас трое – я, жена (вторая жена Достоевского, Анна Григорьевна), которая кормит, и которой есть надо, и ребенок (новорожденная дочь Люба), который может заболеть через нашу нужду и умереть!”⁴⁹ “Надо окрестить Любу, а она до сих пор еще не крещена: не на что”⁵⁰.

Далее все такие же мелочи, трагическую силу которых поймет лишь человек, сам испытывавший нужду. Например, в другом письме к брату, от апреля 1864 года: “Летних калош не соберусь купить, в зимних хожу... Неужели он (Кашпирев), – продолжает Достоевский, – думает, что я писал ему о моей нужде только для красоты слога? Как могу я писать, когда я голоден, когда я, чтобы достать два талера на телеграмму, штаны заложил? Да черт со мной и с моим голодом! Но ведь она (Анна Григорьевна), кормит ребенка, что ж, если она последнюю свою теплую, шерстяную юбку идет *сама* закладывать! А ведь у нас второй день снег идет (не вру, справьтесь в газетах!), ведь она простудиться может! Неужели он не может понять, что мне *стыдно* все это объяснять ему?” Но это не все, есть и *еще стыднее*: у нас до сих пор ни бабка, ни хозяйева не заплачены, и это все ей в первый месяц после родов! Да неужели же он не понимает, что он не только меня, но и *жену мою оскорбил*, обращаясь со мной так небрежно, после того, как я сам ему пи-

сал о нуждах моей жены. Оскорбил, оскорбил!.. Он меня заручил своим словом! Следственно, он не имеет права говорить, что он плюет на мой голод, и что я не смею торопить его. Он, конечно, будет говорить, что он плюет на мой голод, и что я не смею торопить его”⁵¹... – и так далее ненужные, однообразные, как стоны бессмысленной боли, повторения все одного и того же. Это – уже не деловое письмо, а бред; не жалобы, а крики отчаяния. Тут даже нет справедливости относительно Кашпирева, невинного, как оказалось впоследствии, ибо замедление произошло не по его небрежности, а по бестолковости одного служащего в банке, на который был сделан перевод. Тут – самый звук надрывающегося голоса Достоевского, безудержное, почти безумное волнение, как перед припадком эпилепсии.

“И они требуют от меня теперь литературы! – заключает он с бешенством. – Да разве я могу писать в эту минуту? Я хожу и рву на себе волосы, а по ночам не могу заснуть! Я все думаю и бешусь! Я жду! О, Боже мой! Ей-Богу, ей-Богу, я не могу описать все подробности моей нужды: мне стыдно их описывать!.. И после того у меня требуют художественности, чистоты поэзии, без угаду, и указывают на Тургенева, Гончарова! Пусть посмотрят, в каком положении я работаю!”

И такова была вся или почти вся его жизнь.

“Я – художник, поэт – учил, сам не зная чему, – говорил Л. Толстой. – Мне за это платили деньги, у меня было прекрасное кушанье, помещение, женщины, общество; у меня была слава”⁵². – “Литература, так же как и откупа, есть только искусная эксплуатация, выгодная только для ее участников и невыгодная для народа”⁵³. – “Ни один труд не окупается так легко, как литературный”⁵⁴. Ну, а что, если бы он увидел собственными глазами Достоевского, которого он все-таки считал истинным художником, и даже “самым нужным для себя, близким человеком”, – идущего закладывать штаны, чтобы достать два талера на телеграмму, – все так же ли презрительно пожимал бы он плечами, слыша мнение, что даже истинный художник иногда “творит ради денег“, и что в разделении умственного и ручного труда есть нечто узкое, умерщвляющее жизнь, несоизмеримое с жизнью, как и почти во всех подобных умозрительных отвлеченностях? Я, впрочем, думаю, что в столь поверхностных чувствах и мыслях Л. Толстого о литературе, о труде и нужде сказывается не грубость и черствость сердца, свойственная сытым, которые голодных не разумеют, а просто неопытность, совершенное незнание действительной жизни с известной стороны, очень важной для нравственных суждений.

Стремление к бесконечному совершенству, удовлетворение собственной художественной совести для Достоевского – вопрос жизни и смерти. “Не думайте, – пишет от Майкову в том же страшном 1869 году, – что я блины пеку: как бы ни вышло скверно и гадко то, что я пишу, но мысль романа и работа его – все-таки мне-то, бедному, то есть автору, дороже всего на свете! Это не блин, а самая дорогая для меня идея и давнишняя. Разумеется, испакощу, но что же делать! “Верите ли, несмотря, что уже три года записывалась, иную главу напишу да и забракую, вновь напишу и вновь напишу”⁵⁵. Кончая одно из прекраснейших и глубочайших своих созданий, “Идиота”, он жалуется: “Романом я недоволен до отвращения... Теперь сделаю последнее усилие на 3-ю часть. Если поправлю роман – поправлюсь сам, если нет, то я погиб”⁵⁶. И перед отъездом за границу, во время работы над “Преступлением и наказанием”: “В конце ноября было много

написано и готово; я все сжег; теперь в том можно признаться. Мне не понравилось самому. Новая форма, новый план меня увлек, и я начал сызнова”⁵⁷.

“Я и вообще работаю нервно, с мукою и заботою, – говорит Достоевский, – когда я усиленно работаю, то болен даже физически”⁵⁸. И в другом письме из Женевы: “Надо сильно, очень сильно работать. А между тем припадки добивают окончательно, и после каждого я суток по 4 с рассудком не могу собраться”⁵⁹. – “Припадки стали уже повторяться каждую неделю, – вспоминает он последние дни в Петербурге, – а чувствовать и *сознавать* ясно это нервное и *мозговое* расстройство было невыносимо. Рассудок, действительно, расстраивался – это истина. Я это чувствовал; а расстройство нервов доводило иногда меня до бешеных минут”⁶⁰. – “Сжигает меня какая-то внутренняя лихорадка, озноб, жар каждую ночь, и я худею ужасно”⁶¹. – “Каждые 10 дней по припадку, а потом дней 5 не опомнюсь. Пропавший я человек!”⁶²

“А между тем, все мне кажется, что я только что собираюсь жить, – признается он в одном из самых отчаянных писем. – Смешно, не правда ли? Кошачья живучесть!”⁶³ – “Мне довелось видеть его в самые тяжелые минуты, после запрещения журнала, после смерти брата, в жестоких затруднениях от долгов, – рассказывает Страхов, – он никогда не падал духом до конца, и мне кажется, нельзя представить себе обстоятельств, которые могли бы подавить его. Это было особенно изумительно при его страшной впечатлительности, при чем он обыкновенно не сдерживался, а предавался вполне своим волнениям. Как будто одно другому не только не мешало, а даже способствовало”. – “Жизненности во мне столько запасено, что и не вычерпаешь!”⁶⁴ – говорит сам Достоевский в одном из своих юношеских писем, и накануне смерти мог бы он повторить о себе то же самое словами Дмитрия Карамазова: “Я все поборю, все страдания, только бы сказать и говорить себе поминутно: я есмь! В тысяче мук – я есмь, в пытке корчусь – но есмь! В столпе сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть. А знать, что есть солнце – это уже вся жизнь”.

И в эти именно четыре года, пораженный смертью друга, брата, жены, притесняемый кредиторами, преследуемый властью и врагами власти, непонятый читателями, в одиночестве, нищете, болезни, создает он одно за другим величайшие произведения свои: в 1866 году “Преступление и наказание”, в 1868 “Идиота”, в 1870 “Бесов” и замышляет “Братьев Карамазовых”. Мало того: по всему, что он создал, столь оно ни беспредельно, трудно представить себе, что он хотел и, вероятно, мог бы создавать в иных культурных условиях. “Конечно, он написал, – говорит Страхов, близко знакомый с внутренней историей его творчества, – только десятую долю тех романов, которые он уже обдумал, уже носил иногда в себе многие годы; некоторые он рассказывал подробно и с большим увлечением; а таким темам, которых он не успевал обработать, у него конца не было”.

Не дружеским преувеличением, не обычною надгробною хвалой, а беспристрастным, точным выражением того, что действительно было в существе Достоевского как литератора, кажется утверждение Страхова: “Это не простой литератор, а настоящий *герой* литературного поприща”. Да, в жизни Достоевского, каковы бы ни были его ошибки и слабости, по крайней мере, некоторые мгновения действительно окружены ореолом героического подвига и святости.

“Я убедился, – говорит Л. Толстой о русских литераторах, с которыми пришлось ему встречаться в молодости, среди которых не был случайно, но мог быть и Достоевский, – я убедился, что почти все писатели были люди безнравственные, ничтожные по характерам... но самоуверенные и довольные собою, как только могут быть довольны люди совсем *святые*, или такие, которые и не знают, что такое *святость*... Теперь, вспоминая об этом времени, о своем настроении тогда и настроении тех людей... мне и жалко, и срамно – возникает именно то чувство, которое испытываешь в доме сумасшедших”⁶⁵.

Всю жизнь оставался Л. Толстой верным этому взгляду на русскую литературу как на дом сумасшедших. Всю жизнь искал он своего оправдания и своей святости в отречении от культурного общества, в бегстве к народу, в умерщвлении плоти, в ручном труде – во всем, кроме того, к чему, казалось бы, призван был Богом.

Всей своей жизнью Достоевский показал, что так же, как в прошлые века могли быть героями цари, законодатели, воины, пророки, подвижники, – в современной культуре один из последних героев есть герой Слова – литератор.

Будущее решит, кто из них прав, и не суждено ли именно среди героев Слова, так же как среди других героев искусства и познания, явиться тем избранникам, которые будут иметь власть над людьми в третьем и последнем царстве Духа.

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

В глазах того, кто признает одну христианскую святость, и притом с насильственным, умерщвляющим плоть и дух преобладанием духа над плотью, – окажется справедливым приговор Л. Толстого над собственной жизнью: “Я проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеение всех родов, пьянство, насилие, убийство... не было преступления, которого бы я не совершал”¹.

Но, если, кроме святости духа, мы признаем и *святость плоти*, кроме христианской, столь же вечную святость языческую или, по крайней мере, ветхозаветную, не отмененную, а только преображенную Сыном, то, может быть, с этой точки зрения жизнь Л. Толстого представится все-таки самую стройною, целостною и прекрасною, в народном смысле – *благолепною* жизнью, в современном, культурном, не только русском, но и европейском обществе; с этой точки зрения окажется, что он был не “вором”, а бережливым хозяином-домостроителем, не “насильником”, а добрым господином слуг своих и домочадцев, не “убийцею”, а храбрым воином, не “пьяницею”, а мудрым и трезвым эпикурейцем, опьянявшимся самою невинною радостью жизни, не “прелюбодеем”, а верным супругом, сохранившим в незапятнанной чистоте брачное ложе, чадолюбивым отцом семейства, подобным патриархам, отцам Ветхого завета, Аврааму, Исааку и Иакову. Этою не девственною, но и в самом сладострастии целомудренною чистотою и свежестью веет от всей жизни его, как от старого зеленого дерева, как от холодного и прозрачного подземного источника. Болезненных противоречий и лжи нет в самой жизни, в самих делах и даже в чувствах Л. Тол-

стого, противоречия и ложь начинают обнаруживаться только тогда, когда мы приступаем к сравнению совершенной языческой жизни его с его несовершенным христианским сознанием. Дела его обличаются не делами, а только словами и мыслями. Для того, чтобы жизнь Л. Толстого казалась безупречно прекрасною, надо забыть не то, что он делает и чувствует, а лишь то, что он говорит и думает о своих делах и чувствах. Он исполнил ветхий закон, и вся его трагедия лишь в том, что он дела закона своего не оправдал своею верою, своим сознанием. И не заключается ли трагедия всех вообще людей Ветхого завета, всего духовного Израиля именно в том, что на последних пределах исполненного Закона не удовлетворяются они Законом и ждут Освободителя, – но когда Мессия приходит, то, слишком поработанные игом закона, не имеют силы признать его, во всей его неведомой страшной свободе, и отвергают и снова и вечно ждут? И в этом ожидании – их святость. Лишь с точки зрения этой древней, вместе с тем для нас уже вечной, не ветшающей, может быть, заключенной и в самом христианстве (ибо Отец и Сын – одно), но еще там, в христианстве, не понятой, не сознанной святости, Л. Толстой имел право сказать о себе с такою бесстрашною гордынею: “Мне нечего скрывать от людей – пусть знают все, что я делаю”. И жизнь его, действительно, вынесла это испытание: последние покровы сняты с нее, она обнажена перед глазами всего мира. И вот ему все-таки стыдиться нечего: вся она чистая, святая, хотя и не тою святостью, которой он хотел бы и которая кажется ему самому и большинству современных людей христианскою. Если бы он и должен был чего-нибудь стыдиться, то не дел и не чувств своих, а только слов и мыслей. Но разве мало того, что и душевная нагота этого семидесятилетнего старика столь же невинна, как нагота ребенка? Чья еще жизнь в нашем современном обществе вынесла бы такое испытание?

Кажется, во всяком случае, не жизнь Достоевского.

Очень легко впасть в ошибку и в несправедливость при сравнении жизни Л. Толстого с жизнью Достоевского, потому что о первом мы знаем все, между тем как о втором мы не только всего, но, может быть, и очень важного не знаем и лишь по намекам в письмах его, по устным преданиям и, наконец, в особенности по тому, как личность его отразилась в творчестве, догадываемся, что целая сторона ее скрыта от нас. Следует отдать справедливость и ближайшим друзьям Федора Михайловича, которые позаботились оставить нам его жизнеописание: это люди в высшей степени вежливые, почтительные к памяти покойного, даже слишком почтительные и всего менее способные понять то, что Апокалипсис называет *глубинами сатанинскими* и что было так родственно Достоевскому. Даже такой тонкий и проницательный ум, как Страхов, не то что облагораживает, а чрезмерно упрощает личность Достоевского, смягчает, притупляет, сглаживает ее, приводит к общему, среднему уровню.

Во всяком случае, рассматривая личность Достоевского как человека, должно принять в расчет неодолимую потребность его как художника, исследовать самые опасные и преступные бездны человеческого сердца, преимущественно бездны сладостратия во всех его проявлениях. Начиная от самого высшего, одухотворенного, граничащего с религиозными восторгами – сладостратия “ангела” Алеши Карамазова, кончая сладострастием злого насекомого, “паучихи, пожирающей самца своего”, – тут вся гамма, вся радуга бесконечных переливов и от-

тенков этой самой таинственной из человеческих страстей, в ее наиболее острых и болезненных извращениях. Замечательна одинаково необходимая, кровная связь не только чудовищного Смердякова, не только Ивана, “борющегося с Богом”, и жестокого, как будто “укушенного тарантулом”, сладострастника Дмитрия, но и непорочного херувима Алеши – с отцом их по плоти, “извергом”, Федором Павловичем Карамазовым, так же как с отцом их по духу, самим Достоевским. Действительно, это по преимуществу – *его* семья, и он бы отрекся от нее, может быть, перед людьми, но не перед собственной совестью и не перед Богом.

Существует в рукописи ненапечатанная глава из “Бесов”, исповедь Ставрогина, где между прочим он рассказывает о растлении девочки². Это одно из могущественнейших созданий Достоевского, в котором слышится звук такой ужасающей искренности, что понимаешь тех, кто не решается напечатать этого даже после смерти Достоевского: тут что-то, действительно, есть, что переступает “за черту” искусства: это *слишком живо*.

Но в злодеяниях Ставрогина, даже в последних низостях его падений есть, по крайней мере, как бы не потухающий демонический отблеск того, что было красотою, есть величие зла. Достоевский не останавливается, однако, и перед изображениями самого будничного и мелкого разврата, в котором уже нет никакого величия. Герой или “антигерой” “Записок из подполья” стоит на умственной высоте величайших героев Достоевского, наиболее близких сердцу его. Он выражает самую сущность религиозных борений и сомнений художника. В этой исповеди чувствуется иногда самообличение, самобичевание, не менее беспощадное и несколько более страшное, чем в “Исповеди” Л. Толстого. И вот в чем этот “герой” признается: “По временам... я вдруг погружался в темный, подземный, гадкий – не разврат, а развратишко. Страстишки во мне были острые, жгучие от всегдашней болезненной раздражительности. Порывы бывали истерические, со слезами и конвульсиями... Накипала сверх того тоска; являлась истерическая жажда противоречий, контрастов, и вот я и пускался развратничать... развратничал я уединенно, по ночам, потаенно, боязливо, грязно, со стыдом, не оставившим меня в самые омерзительные минуты и даже доходившим в такие минуты до проклятия. Я уж и тогда носил в душе моей подполье. Боялся я ужасно, чтоб меня не увидали, не встретили, не узнали...”

Во всех этих изображениях у Достоевского такая сила и смелость, такая новизна открытий и откровений, что иногда является смущающий вопрос: мог ли он все это узнать *только по внешнему* опыту, только из наблюдений над другими людьми? Есть ли это любопытство *только* художника? Конечно, ему самому не надо было убивать старуху, чтобы испытать ощущение гения; многое – *но все ли?* Впрочем, пусть даже в делах, в жизни самого Достоевского не было ничего соответственного этому преступному или, по крайней мере, переступающему “за черту” любопытству художника; достойно внимания уже и то, что в воображении его могли возникать подобные образы. Вот к чему никогда не было бы способно воображение Л. Толстого, проникавшее, однако, в не менее глубокие, хотя иные бездны сладострастия. Художественного любопытства Достоевского к “укусам тарантула” – к растлению девочки, к любовному приключению Федора Карамазова с Лизаветою Смердящею – никогда не понял бы Л. Толстой. Ему по-

казалось бы такое любопытство или бессмысленным, или отвратительным. Половая чувственность является у него иногда силою жестокою, грубою, даже зверскою, но никогда не противоестественною, не извращенною. Величайшее из человеческих преступлений, казнимое немилосердною божескою справедливостью в духе Моисеева Второзакония – “Мне отмщение, Аз воздам”³ – для творца “Анны Карениной” и “Крейцеровой сонаты” есть нарушение супружеской верности. Мера, которою сам он мерит все явления половой жизни – стихийно-простая, здоровая, патриархально-семейственная, целомудренная чувственность, как закон, данный людям Иеговою: плодитесь и множитесь⁴. Левин признается однажды, что он во всю свою жизнь не мог себе представить иначе счастья с женщиной, как в виде брака, и что соблазнить чужую жену ему, обладателю Китти, кажется столь же нелепым, как человеку после дорогого сытного обеда – украсть калач с лотка уличной торговли. Сколь бы ни каялся Л. Толстой в совершенных им будто бы любодеениях, мы чувствуем, что в этой области, по сравнению с Достоевским, он столь же наивен, как Левин или шестнадцатилетний Иртеньев, влюбленный в горничную Сашу, которому поцеловать ее мешает дикая стыдливость.

Но, повторяю, исследователь жизни Достоевского бродит здесь в потемках, ощупью. Нет ясных и точных свидетельств, на которые можно бы опереться. Только намеки. Один из них я уже привел: рассказав брату о своем увлечении “Миннушками, Кларами, Марианнами” – Достоевскому было тогда 25 лет – и о том, как Тургенев и Белинский “разбранили его за беспорядочную жизнь”⁵, он сообщает в заключение: “Я болен нервами и боюсь горячки или лихорадки нервической. Порядочно жить я не могу, до того я беспутен”⁶. Почтительный и целомудренный биограф О.Ф. Миллер спешит сделать предположение, что “беспутство”, о котором здесь идет речь, есть только денежная беспорядочность Федора Михайловича; но именно этою поспешностью оправдания поселяет сомнение в душе читателя⁷.

А вот и еще намек, хотя из другой области, но тоже дающий меру тех крайностей, до которых способен был Достоевский доходить не только в воображении, но и в действительности. “Голубчик, Аполлон Николаевич, – пишет от Майкову в 1867 году из-за границы, – я чувствую, что могу вас считать как моего судью. Вы человек с сердцем... Мне перед вами покаяться не больно. Но пишу только для вас одного. Не отдавайте меня на суд людской. Проезжая недалеко от Бадена, я вздумал туда завернуть. Соблазнительная мысль меня мучила: пожертвовать 10 луидоров, и может быть, выиграю 2000 франков лишних... гаже всего, что мне и прежде случалось иногда выигрывать. А хуже всего, что натура моя подлая и слишком страстная... Бес тотчас же сыграл со мной шутку: я дня в три выиграл 4000 франков с необыкновенною легкостью... Главное – сама игра. Знаете ли, как это втягивает! Нет, клянусь вам, что тут не одна корысть... Я рискнул дальше – и проиграл. Стал свои последние проигрывать, раздражаясь до лихорадки, – проиграл. Стал закладывать платьё. Анна Григорьевна все свое положила, последние вещицы (что за ангел! как утешала она меня)”⁸. Следуют мольбы о деньгах, кажущиеся унижительными, даже если принять в расчет всю дружескую близость Достоевского с Майковым: “Я знаю, Аполлон Николаевич, что у вас самих денег *лишних* нет. Никогда бы я не обратился к вам с просьбою

о помощи. Но ведь я утопаю, утонул совершенно. Через две-три недели я совершенно без копейки, а утопающий протягивает руку, уже не спрашиваясь рассудка... Кроме вас, никого не имею, и если вы не можете, то я погибну, вполне погибну!.. Голубчик, спасите меня! Заслужу вам веками дружбой и привязанностью. Если у вас нет, займите у кого-нибудь для меня. Простите, что так пишу... Не оставляйте меня одного! Бог вознаградит вас за это. Оросите каплей воды душу, иссохшую в пустыне! Ради Бога!" Замечательна в этих последних выражениях о "капле воды" и "душе, иссохшей в пустыне" униженная витиеватость речи, та самая, с которой у него в романах описывают свою бедность комические лица, потерявшие чувство собственного достоинства, вроде "пьяньего" Мармеладова и проходимца капитана Лебядкина. Видимо, Достоевский сам не помнит, что говорит, не владеет собою: ему все равно, что Майков о нем подумает; он зарвался; он в лихорадке, почти в истерике; он все еще как пьяный от сладострастия игры. И чувствуется, что если бы там, в Бадене, получил он деньги, которое просит, то снова не удержался бы и проиграл бы их тотчас.

Однажды в молодости Л. Толстой тоже сильно проигрался. Но не "зарвался", а сумел остановиться вовремя, со свойственными ему если не в созерцании, то в действии самообладанием и трезвостью. Он прекратил игру, уехал на Кавказ, поселился в казачьей станице, жил здесь с величайшею бережливостью на 5 рублей в месяц, собрал деньги и выплатил карточный долг. Тут, хотя в маленькой житейской подробности, сказывается истинная сила Л. Толстого – чувство меры, власть над собою, выдержка и, следовательно, с известной точки зрения, нравственное преимущество перед Достоевским.

Все это мелочи. Но мы знаем, что и в более важных случаях Достоевский "зарывался". Так, в припадке юношеского тщеславия вообразил он, что в "Двойнике" своем превзошел "Мертвые души". Так, в слепом негодовании на Белинского обвинял этого, может быть, недостаточно пронизательного, но в высшей степени благонамеренного человека – в "подлой злобе", в "смрадной тупости". В том самом письме, где он рассказывает Майкову о проигрыше, он делает это знаменательное обобщение всей своей нравственной личности: "Везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил". Надо прибавить, что ему случалось "переходить за черту" не только от силы, но и от слабости, от недостатка самообладания.

"Не отдавайте меня на суд людской", – просит он Майкова. Это напоминает героя "Записок из подполья": "Боялся я ужасно, чтоб меня не увидали, не встретили, не узнали". Может быть, он и не раскаивается, и не стыдится перед самим собою своей, как он выражается, "подлой и слишком страстной природы", но все же сознанием своим освятить и оправдать ее "перед людским судом" не имеет силы. И это уже слабость, это стыд зла, ибо зло не в том, что он делает, а в том, что он стыдится того, что делает. И в конце концов, не все ли равно, было ли что-нибудь в жизни, в делах его, соответствующее преступному любопытству его воображения, или не было? Важно то, что он думал и чувствовал так, как будто *посмел бы* сделать, если бы захотел. А сказать, как Л. Толстой: "Мне нечего скрывать от людей, пусть знают все, что я делаю", и снять с жизни своей последние покровы, обнажить ее перед глазами всего мира Достоевский не посмел бы. Этой наготы не вынесла бы его жизнь. Он что-то скрыл от нас или желал бы

скрыть, и мы чувствуем, что эта темная сторона его жизни – не святая, не “благолепная” или, по крайней мере, ему самому казалась она не святою и не благолепною.

Если жизнь Л. Толстого похожа на девственно-чистую воду подземного родника, то жизнь Достоевского подобна огню, который вырывается из тех же первоначальных глубин, но смешанный с лавою, пеплом, удушливым смрадом и чадом.

Нельзя не поверить искренним усилиям Л. Толстого любить своих ближних; можно только усомниться в том, любил ли он, действительно, кого-нибудь похристиански. Огонь любви, проникающий и очищающий всю жизнь Достоевского, светится даже в самых будничных подробностях его жизни. В одном письме поручает он Майкову своего пасынка-сироту: “Паша мальчик добрый, мальчик милый и которого некому любить... Я последней рубашкой с ним поделюсь и буду делиться всю жизнь!”⁹ Кто сам любил, тот почувствует, что это не пустое слово, что он действительно готов, не рассуждая отвлеченно, имеет ли право помогать бедным, поделиться со своим мальчиком “последнею рубашкою”.

“...Мне говорят в утешение, – пишет он после смерти дочери Сони, – что у меня еще будут дети. А Соня где? Где эта маленькая личность, за которую я, смело говорю, крестную муку приму, только чтоб она была жива... Чем дальше идет время, тем язвительнее воспоминание, и тем ярче представляется мне образ покойной Сони. Есть минуты, которых выносить нельзя. Она уже меня знала; она, когда я, в день смерти ее, уходил из дома читать газеты, не имея понятия о том, что через два часа она умрет, так следила и провожала меня своими глазками, так поглядела на меня, что до сих пор представляется все ярче и ярче. Никогда не забуду и никогда не перестану мучиться! Если даже и будет другой ребенок, то не понимаю, как я буду любить его, где любви найду; мне нужно Соню”¹⁰. Он любит ее, дитя своей плоти, не только по плоти, но и по духу, то есть *по-христиански*, не для себя, а для нее, как отдельную, вечную, незаменимую личность. Вот кто никогда не утешился бы об умершем ребенке с другими, новыми детьми, подобно ветхозаветному патриарху Иову¹¹. “А где Соня? Мне нужно Соню”. Во всем, что делал, говорил, думал и чувствовал Л. Толстой, нет ничего подобного этим простым словам простой любви.

Невольно вспоминается, как однажды о самом верном из друзей своих, о той, которая отдала ему всю свою жизнь, не только любила, но и *жалела* его, тридцать лет заботилась о нем, как о ребенке, с материнскою нежностью, о жене своей Софье Андреевне, сказал Лев Николаевич постороннему человеку: “Друга я себе буду искать между мужчинами, и никакая женщина не может заменить мне друга. Зачем же мы лжем нашим женам, уверяя их, что считаем их нашими истинными друзьями? Ведь это неправда же?” Какое холодное и жестокое слово! Жестокое, но, может быть, беззлобное, невинное и даже если не христиански, то язычески прекрасное; это ведь холод всей его жизни – холод подземного источника. Только бы он сам не боялся, не стыдился этого холода, сохранил бы его до конца; а то ведь все равно, холодный источник никогда не будет горячим, а лишь теплым и мутным. Так пусть бы уже лучше оставался он таким, каким создал его Бог. Я боюсь не великого себялюбия, не языческого холода последних и девственно-чистых глубин его, а поверхностной или серединной теплоты его, желающей быть христианскою.

Итак, в сущности, и Л. Толстой, и Достоевский праведны в жизни своей, но праведны не до конца, не совершенны, ибо, кроме подземного холода, есть еще холод небесной лазури, кроме подземного огня, есть солнечный огонь. Ни тот, ни другой не достигли этой высшей *соединяющей* области, где вечная лазурь проникнута вечным солнцем, где Два – Одно.

Во всяком случае, огонь Достоевского так же свят, как холод Л. Толстого. Для меня, что бы ни узнал я дурного, преступного, даже постыдного – если вообще что-либо подобное было – о жизни, о действиях Достоевского, образ его не омрачится, и окружающий его ореол святости не потускнеет, ибо я чувствую, что горевший в нем огонь все победил и все очистил¹². И сам он чувствовал силу этого очищающего огня. Им он жил и от него умирал. “Сжигает меня какая-то внутренняя лихорадка, озноб, жар каждую ночь, и я хуюеу ужасно”, – писал он еще за несколько лет до смерти¹³. Во вторую половину 1880 г., когда он кончил “Братьев Карамазовых”, по воспоминаниям Страхова, он был необыкновенно худ и истощен. – “Он жил, очевидно, одними нервами, и все остальное его тело дошло до такой степени хрупкости, при которой его мог разрушить первый, даже небольшой толчок. Всего поразительнее была при этом неутомимость его умственной работы. Он писал 25 или 30 печатных листов в год, а работа, как он сам мне говорил, стала ему труднее”. В начале 1881 года он заболел сильным припадком эмфиземы, вследствие катарра легочных путей, которою страдал последние девять лет своей жизни. 26 января сделалось кровотечение горлом. Чувствуя приближение смерти, пожелал он исповедаться и причаститься. «Во всю свою жизнь, в решительные минуты, – говорит Страхов, – Федор Михайлович имел обыкновение, по словам Анны Григорьевны, раскрывать наудачу то самое Евангелие, которое было с ним в каторге, и читать верхние строки открывшейся страницы. Так поступил он и тут, и дал прочесть жене. Это был Матф. гл. III, ст. 2: “Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду”. Когда Анна Григорьевна прочла это, Федор Михайлович сказал: “Ты слышишь? “Не удерживай”, значит, я умру». И закрыл книгу. Через несколько часов он, действительно, умер мгновенно, от разрыва легочной артерии.

“Великая правда”, о которой думал он в свои последние минуты, была правдою всей жизни его. Должно надеяться, что он исполнил ее в смерти и что она окончательно оправдала его перед Вечным Судом.

Достоевский любил читать пушкинского “Пророка” на литературных вечерах. Кто слышал его, тот никогда этого не забудет. Начинал он прерывистым, глухим и тихим, как будто сдавленным, голосом. Но среди молчания толпы каждый звук был внятн. И голос его становился все громче, приобретал силу, как бы сверхчеловеческую, и последний стих он уже не произносил, а кричал потрясающим криком:

Глаголом жги сердца людей!

И серая, жалкая, консервативно-либеральная петербургская толпа, кажется, самая холодная и будничная толпа всего мира, содрогалась от этого страшного крика, точно так же, должно быть, как четыре века назад толпа в Марии-дель-

Фьоре, во время проповедей брата Иеронима Савонаролы¹⁴. В это мгновение вдруг чувствовалось, что Достоевский больше, чем великий писатель, и что в нем горит тот огонь, о который зажигаются всемирно-исторические религиозные пожары.

Однажды Страхов прочел ему свое стихотворение, где был между прочим стих, обращенный к современным русским людям:

Поймите лишь, каких носители вы сил!¹⁵

Достоевский воскликнул:

“Да, да, поймите лишь! Именно, именно только бы поняли! Да нет, не поймут...”

“После криков, рукоплесканий и венков, которыми удостаивали его на публичных чтениях, – рассказывает Страхов, – опять он говаривал:

– Да, да, все это хорошо, да все-таки главного не понимают”.

“В чьей-нибудь голове, – говорит сам Достоевский, – всегда остается нечто такое, чего никак нельзя передать другим людям, хотя бы вы исписали и целые томы и растолковывали вашу мысль тридцать пять лет; всегда остается нечто, что ни за что не захочет выйти из-под вашего черепа и останется при вас навеки; с тем вы и умрете, не передав никому, может быть, самого *главного* из вашей идеи”.

Не исполнилось ли это предчувствие? Не умер ли он, не сказав нам *главного* из того, что хотел сказать? И теперь, через двадцать лет после смерти своей, узнав, как поняли его, не имел ли бы он права снова воскликнуть: “главного не понимают”, и, может быть, даже особенно *теперь*, когда слава его меркнет перед все восходящею, все ослепительнее сияющею славою великого соперника? Но если “главное” в Л. Толстом больше почувствовано, признано, то больше ли оно сознано и понято, чем в Достоевском? Во всяком случае, кажется, Л. Толстому, а не Достоевскому принадлежит настоящее. А если это действительно так, если Л. Толстой – властелин настоящего, то не принадлежит ли Достоевскому будущее? Я говорю это не с тем, чтобы унижить Л. Толстого. Я думаю, настоящее не меньше будущего. Сегодняшнее есть уже завтрашнее, только еще не узнанное, но столь же глубокое, может быть, даже более, потому что оно безмолвно и тайно. Я хочу лишь сказать, что мы уже предчувствуем третьего, неведомого, того, кто идет за ними и кто больше их, того, кто *соединит* настоящее с будущим, кто сделает настоящее будущим. Не ему ли принадлежит венец последней победы? Не он ли сознает и откроет главное, что было во Л. Толстом и в Достоевском? И тогда всем станет ясно, что Он был в них.

“Сочинения Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина, – говорит Л. Толстой, – ...неизвестное, ненужное для народа... – Наша литература не прививается и не привьется народу... Сочинения эти, столь ценимые нами, остаются трупом для народа”¹⁶. Однажды, разговорившись с извозчиком, на просьбу дать ему “Детство и отрочество”, Лев Николаевич ответил:

«– Нет, это пустая книжка. В молодости я много писал глупостей. Я дам тебе “Ходите в свет, пока есть свет”. Это гораздо лучше, чем “Детство и отрочество”»¹⁷.

“Я, как Павел, – говорит Достоевский, – меня не хвалят, так я сам буду хвалиться”¹⁸. И незадолго перед смертью, в записной книжке, под параграфом, озаглавленным “Я”: “Я, конечно, народен (ибо направление мое истекает из глубины христианского духа народного), хотя и не известен русскому народу теперешнему, но буду известен будущему”¹⁹.

Несмотря, однако, на всю противоположность этих взглядов, каждый из них прав по-своему.

Конечно, оба они народны в том смысле, что продолжают дух русского народа в духе русской культуры, стремятся к тому, что действительно должно сделаться когда-нибудь народным и в то же время всемирно культурным. Стремятся, но достигают ли? Кажется, они только сознали или, по крайней мере, почувствовали до конца бездну, отделяющую культуру от народа, они хотят быть народом. Но даже Пушкин, гораздо меньше сознававший эту бездну, больше народ, чем они. Ни Л. Толстой, ни Достоевский не обладают совершенною простотою, которая делает произведения искусства, подобные “Илиаде” Гомера, “Прометею” Эсхила, “Божественной комедии” Данте, завершающим выражением духа народного как духа всемирного. Оба они еще слишком сложны и даже слишком сословны, может быть, именно потому, что слишком спешат выйти из сословия и “опроститься”. Кому нужно опроститься, тот еще не прост; кто хочет быть народом, тот еще не народ, а если и дальше пойдет так, как до сих пор шло, то Пушкин, Л. Толстой и Достоевский еще долго останутся “трухою для народа”.

Основатель новой “секты”, которая сама себя называет “церковью христиан православных”, бывший каторжник, живущий на Сахалине, крестьянин Тихон Белоножкин, считающий себя и своими последователями считаемый за Христа, сказал недавно одному, так называемому “культурному” русскому человеку, исследователю народных обычаев:

– Масло собираете? Понимаю... Масла вы в лампадку набрали много. Зажгите ее, чтоб свет был людям. А то зачем и масло?”

Все мы, люди культуры и сознания, – не масло ли без огня? Народ – люди стихийной силы и веры – не огонь ли без масла? Если масло не соединиться с огнем, то оно пропадет и огонь потухнет. Мне кажется, что Л. Толстой и Достоевский – великие предтечи того, кто опустит светильню в масло и зажжет огонь.

Таковы эти две русские жизни, эти два русских лица.

Когда я смотрю на каждое из них отдельно, я могу судить их и сравнивать, могу отдавать преимущество одному перед другим, но когда я вижу их вместе, то уже не знаю, кто из них мне ближе и кого я больше люблю.

“Лицо у него было крестьянское, – описывает очевидец наружность Л. Толстого, – простое, деревенское, с широким носом, обветренной кожей и густыми, нависшими бровями, из-под которых зорко выглядывали маленькие, серые, острые глаза”. Иногда, вдруг вспыхивая и загораясь, глаза эти смотрят на собеседника как бы *сверлящим и пронизывающим* взором. При всей простонародности лица его, прибавляет тот же очевидец, “во Льве Николаевиче сейчас же чувствовался человек высшего круга”, человек светский, русский барин²⁰.

Замечательно вообще в лицах великих людей русской культуры, например в лице старого Тургенева, это соединение простонародности, “деревенского”, “крестьянского” с самой высшей аристократичностью, с самым родовитым рус-

ским “барством” и европейскою светскостью, притом – соединение, кажущееся естественным, как будто одно другому не мешает, а даже, напротив, именно там, в глубине простонародного, и заключается нечто до последней степени аристократическое, не в грубом, сословном, а в самом высшем смысле *господское*, властное, избранное и вместе с тем утонченно-изящно-культурное – всемирное.

В приведенном описании наружности Л. Толстого недостает одной черты: это лицо человека, прожившего долгую, может быть, и бурную, но редко счастливую, “благолепную” жизнь, согласно с природою, лицо патриарха или старого “язычника”, исполина Немврода²¹, дяди Ерошки. Несмотря на семидесятилетние морщины, так и веет от него неувядаемою юностью, свежестью и тем несколько надменным, безучастным холодом, который свойствен вообще великим языческим лицам.

И вот рядом – лицо Достоевского, даже в молодости “не казавшееся молодым”, со страдальческими тенями и складками на впалых щеках, с огромным оголенным лбом, на котором чувствуется вся ясность и величие разума, и с жалкими губами, точно искривленными судорогой “священной болезни”, с тусклым, как будто обращенным внутрь, невыразимо тяжким взором немного косящих глаз, глаз пророка или бесноватого. И что всего мучительнее в этом лице – как бы неподвижность в самом движении, как в крайнем усилии вдруг остановившееся и окаменевшее стремление²².

Несмотря на всю противоположность этих двух лиц, иногда они кажутся странно сходными – не потому ли, что и у Достоевского такое же крестьянское, простонародное лицо, как у Л. Толстого? “Федор Михайлович, – говорит Страхов, – имел вид совершенно солдатский, то есть простонародные черты лица”. Но вот вопрос: если нам, людям культуры, лица эти кажутся в высшей степени народными, то признает ли их такими же и сам народ? Не найдет ли он их, может быть, и заключающими в себе лучшее, что есть для русского мужика в русском “барине”, но все-таки чуждыми, дальними – может быть, из высшего, но все-таки из другого мира?

Если лицо завершающего гения есть по преимуществу *лицо народа*, то ни во Льве Толстом, ни в Достоевском мы еще не имеем такого русского лица. Слишком они еще сложны, страстны, мятежны. В них нет последней тишины и ясности, того “благообразия”, которого уже столько веков бессознательно ищет народ в своем собственном и византийском искусстве, в старинных иконах своих святых и подвижников. И оба эти лица не прекрасны. Кажется, вообще у нас еще не было прекрасного народного и всемирного лица, такого, как, например, лицо Гомера, юноши Рафаэля, старика Леонардо. Даже внешний образ Пушкина, который нам остался, – этот петербургский денди тридцатых годов, в чайльд-гарольдовом плаще, со скрещенными на груди по-наполеоновски руками, с условно байроническою задумчивостью в глазах, с курчавыми волосами и толстыми чувственными губами негра или сатира²³, едва ли соответствует внутреннему образу самого родного, самого русского из русских людей. Да и есть ли это настоящее лицо Пушкина? Современники рассказывают, что бывали минуты, когда он вдруг как бы весь преобразался, становился неузнаваем²⁴. Не совершалось ли именно в эти минуты то чудо, о котором говорит у Платона Алкивиад по поводу лица Сократа: не выходил ли из грубой оболочки сатира бог?²⁵ Во всем суще-

стве Пушкина, в его наружности, так же как в поэзии, есть нечто слишком легкое, мгновенное, неуловимо скользящее, едва до земли касающееся и улетающее, что не могло быть закреплено во внешнем образе. Недаром друзья называли его *Искрою*. Он ведь, действительно, не совершил над русской культурой течения своего, как светило, а только беснул и погас, как искра, как падающая звезда, как предзнаменование возможной, но даже им самим неосуществленной русской гармонии – русского “благообразия”. И, улетаая, он оставил нам только темную, непрозрачную оболочку свою, без горевшего, светившегося в ней ядра, без внутреннего образа своего. Кто теперь снова найдет это истинное лицо Пушкина?

Но, может быть, именно в том, что русский народ до сей поры не нашел еще *лица своего*, и заключается наша великая надежда, ибо не значит ли это, что мера его не в прошлом, не в Пушкине, даже не в Петре, а все еще в будущем, все еще в неведомом, в большем? Этого будущего, третьего и последнего, окончательно “благообразного”, окончательно русского и всемирного лица не должно ли искать именно здесь, между двумя величайшими современными русскими лицами – Л. Толстым и Достоевским?

Потому-то и соединяем мы их, что втайне ждем: не воспыхнет ли между ними, как между двумя противоположными полюсами, искра того огня, той молнии, о которую зажжется великий пожар, и которая будет явлением Человекобога для мира западного, Богочеловека для восточного, а для соединивших оба мира будет в двух Один.

